

Иван Алексеевич Бунин

## Под серпом и молотом

По резкости оценок, не только литературных, но и политических, русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1933) Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) не знал себе равных. Со свойственной его натуре правдивостью, непосредственностью и мастерством он описал в своих воспоминаниях и дневниках всё виденное и пережитое — начиная с Октябрьской революции, которую он, в отличие от многих своих собратьев по перу, отвергал с самого начала и до конца жизни в эмиграции в Париже.

Сборник Ивана Бунина «Под серпом и молотом» издан посмертно в 1986 году издательством Zaria Publ., London, Ontario — Canada.

# Содержание

#1 . . . . .	0006
Под серпом и молотом Из записок неизвестного . . . . .	0006
Богиня разума . . . . .	0053
Андре Шенье . . . . .	0075
Камилл Демулен . . . . .	0085
Красный генерал Рассказ Н. Н . . . . .	0098
Товарищ дозорный . . . . .	0112
Notre-Dame de la Garde . . . . .	0124
Илюшка . . . . .	0135
Сокол . . . . .	0139
Русь . . . . .	0142
Автобиографические заметки . . . . .	0144
Волошин . . . . .	0220
Горький . . . . .	0245
Его Высочество . . . . .	0262
Маяковский . . . . .	0277
«Третий Толстой» . . . . .	0293
Рахманинов . . . . .	0346
Репин . . . . .	0349
Джером Джером . . . . .	0351
Шаляпин . . . . .	0354
Куприн . . . . .	0372
Семеновы и Бунины . . . . .	0399
Эртель . . . . .	0415

Гегель, фрак, метель . . . . . 0433

Иван Бунин

•

**ПОД СЕРПОМ И МОЛОТОМ**

*Сборник рассказов и  
воспоминаний*



# Под серпом и молотом

## Из записок неизвестного

### I

Этого старичка я узнал прошлой зимой, ещё при начале царствования Ленина. Эта зима была, кажется, особенно страшна. Тиф, холод, голод... Дикая, глухая Москва тонула в таких снегах, что никто не выходил из дому без самой крайней нужды.

Я искал его по одному делу. Узнал наконец, что он обитает в том же доме, где было прежде некое государственное учреждение, при котором состоял он. Теперь этот громадный дом пуст и мёртв. Я вошел в широкие раскрытые ворота и остановился, не зная, куда идти дальше. Но, по счастью, за мной вошёл какой-то мальчишка, который что-то нёс с собой. Оказалось, что мальчишка идет как раз к старичку, несёт ему пшённой каши: старичок питался только тем, что присылал ему иногда, по старой дружбе, отец мальчишки. Пошли вместе, вошли в подвальный этаж дома, долго шли по какому-то подземелью, по-

стучали в маленькую дверку. Она отворилась в низок под каменным сводом. В низке было очень жарко: посреди стояла железная печка, докрасна раскалённая. Старичок поднялся мне навстречу на растоптанных, трясущихся ногах и сказал нечто странное теперь для слуха: «Имею честь кланяться, Борис Петрович!» Выцветшие, слезящиеся глаза, серые бакенбарды; давно небритый подбородок зарос густо, молочно. Весь низок сплошь увешен яркими лубочными картинами — святые, истязуемые мученики, блаженные и юродивые, виды монастырей, скитов; целый угол занят большим киотом с блестящими золотыми образами, перед которыми разноцветно теплятся лампадки — зелёные, малиновые, голубые. Запах лампадного масла, кипариса, воска и жар от печки нестерпимые.

— Да-с, тепло! — сказал, грустно усмехаясь, старичок. — Не в пример всей Москве, на холод не пожалуюсь. Всеми, слава Богу, забыт, даже почти никто и не подозревает, что я здесь уцелел. Не знает никто и про тот тайный запас дровец, что остался здесь в некотором подвальчике. Здесь, даст Бог, вскорости и

окончу своё земное существование. Очень стал хил и печалюсь. Времена опять зашли тёмные, жестокие и, думаю, надолго. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. Так и Россия: вся наша история — шаг вперёд, два назад, к своему исконному — к дикому мужичеству, к разбитому корыту, к лыковому лаптю. Помните? «Было столь загажено в кремлевских палатах колодниками, что темнели на иконах ризы...» Таковыми палатами стала снова Россия. Нынешние правители её ещё дают до поры до времени полную волю народу, его зверству и безобразию, и народ пользуется этой волей, губительной для него же самого. Оправдывается слово Исаака Сирина:[1] «Пёс, лижущий пилу, пьёт собственную кровь и из-за сладости крови своей не сознаёт вреда себе...» Впрочем, всё это вам и без меня хорошо известно. Перейдёмте к делу: весь к вашим услугам, но чем именно могу служить?

...Весной он умер. В одно из наших последних свиданий он говорил мне:

— Знаете ли вы это чудное сказание? Забежала шакалка в пещеру Иоанна Многострадального и разбила его светильник, стояв-

ший у входа. Святой, сидя ночью на полу тёмной пещеры, горько плакал, закрывшись руками: как, мол, совершать теперь чин ночной молитвы, чтения? Когда же поднял лицо, утираясь рукавом, то увидел, что озаряет пещеру некий тонкий, неведомо откуда струящийся свет. И так с тех пор и светил ему по ночам — до самой его кончины. А при кончине, воспринимая его душу, нежно сказал ему Ангел Господень: «Это свет твоей скорби светил тебе, Иоанн!»

1930 г.

## II

Жизнь возобновляется, — ведь идёт шестой год их царства, — даже начинает переходить в будни. Белый хлеб и чай входят в обычай. Опять, удивляя и радуя, открываются лавки и магазины, кое-где пошли трамваи, появились извозчики... И опять весна и даже некоторые весенние чувства, — например в какую-нибудь чёрную сырую ночь с этим особенным треском колёс и цоканием копыт по мостовой, с влажным ветром в фортку, или в солнечный полдень, когда всё течёт, блещет,

тает, а на углу Арбата, на тротуаре, возле бывшей «Праги», сидят и, напоминая о юге, дерут свои стихиры слепые лирники...

Вместе с весной стало как-то необычнолюдно на главных улицах. Народ, впрочем, всё больше новый. Людей прежнего времени, особенно старых, уже почти нет, их погибло за эти годы бесконечно много, а те, что как-то уцелели, странны: зачем они уцелели, зачем вылезли откуда-то на свет Божий, как замороженные звери из своих холодных нор, — бледные, обросшие ватной сединой, в зимних лохмотьях? Вижу иногда знаменитого народовольца: ужасная чёрная шляпа (ужаснее тех, что валялись прежде только на пустырях, на свалках), рубище солдатской шинели, грязные, мокрые опорки, связанные верёвкой... Однако очень бодр, всегда не идет, а бежит, так и сверкает очками и младенческой, блаженно-изумлённой улыбкой.

Я скитаюсь по Москве, даже начинаю мечтать о поездках кое-куда. Иногда не бываю дома с утра до вечера, отдыхаю, ем и пью где придётся, в какой-нибудь чайной. Сижу, курю махорку, смотрю на соседей, слушаю разгово-

ры и музыку. Какой-нибудь до ушей лысый еврей, с бархатно-чёрными глазами, отставив вперёд ногу, с бешеной страстью жжёт и бьёт смычком по скрипке, солдат в обмотках тупо ревёт на гармонии, поставленной на приподнятое колено...

Есть вести из наших мест — из города и из деревни: и там уже будни. Недавно посетил нас «землячок», бывший красноармеец. Дружески сидел с нами, пил чай, вёл беседу. Говорил, усмехаясь, что теперь и отдохнуть можно:

— Теперь мы Россию замирили, везде тихо. Я сам в Тамбове не меньше ста душ в расход вывел...

Он оброс густой и круглой красно-коричневой бородой. Круглые прозрачно-коричневые глаза стоят, как у филина. Стриженная голова имеет форму гроба.

### III

Очень далеким стало всё прошлое! Был я однажды в Хамовниках, в доме Толстых. Был вот такой же блестящий апрельский день, весеннее сияние голых деревьев, запах почек и сырой земли... И какая грусть! Дом пуст, дав-

но не топится, в нём холод, сырость... Особенно грустно в тех двух низких комнатах с топорными креслами, обитыми чёрной кожей, очень потёртой и в складках, где жил он сам. На стене висит его старая меховая шуба, на полу разбитый кувшин и старое деревянное судно, у одной стены столик с сапожными инструментами... Всё бедное, жалкое, следы жизни уже давней и забытой!

Вспоминаю ещё Остафьево, где был перед этим. Там, в кабинете Карамзина, лежат под стеклом кое-какие вещи Пушкина: чёрный жилет, белая бальная перчатка, палка... Потом — восковая свеча с панихиды по нём... Смотрел — стеснялось дыхание. Как всё хорошо, безжизненно и печально! Век ещё более давний и потому кажущийся ещё тоньше...

#### IV

В июне некоторое время жил в Тверском уделе.

Тихий и печальный край! Бедные песчаные поля, тощие перелески, редкие посёлки, леса по горизонтам. А не то низины, болота... Дни тоже какие-то бедные, невзрачные. По вечерам тусклое сияние луны...

Чем тут живут теперь, когда нет Москвы, московских заработков и все сидят дома, — не понятно. Земля скудная и малая, чернозёмному человеку смотреть жалко. Но вот как-то живут и даже на вид неплохо, во всяком случае лучше наших. Избы прочны, ладны, стоят вдоль улицы ровно. В избах деревянные полы, занавесочки на окнах, под окном пядьцы с узорным холстом, на полке самовар... Одеты все довольно опрятно, девки и ребята даже франтят и по вечерам парами танцуют около изб под гармонь. Пожилые весьма схожи с нашими по языку, по склонности изрекать общие места, мудрые пошлости. И, конечно, так же равнодушны и к тому, что когда-то было, и к тому, что случилось, и к тому, что есть. Над тем, например, что теперь на полтора миллиона можно купить всего пять фунтов муки, лишь усмеваются: покачивают головами и уютно прячут руки в рукава.

Москва тут кажется за тысячу вёрст. Я о ней слышал между прочим, такое суждение: — Дивно, как ещё эта Москва веществует!

## V

В последний раз побывал в Никольском.

Пришло неожиданное и удивительное письмо от Никольских мужиков. Писал от их имени новый учитель:

«Граждане сельца Никольское вспоминают вас, относясь с симпатией, в ознаменование чего и предлагают вам поселиться на родном пепелище, сняв у них в арендное содержание бывшую вашу усадьбу и живя в добрососедских отношениях. Приезжайте для личных переговоров и хлопот, ничего не подозревая, ввиду того, что теперь вас никто пальцем не тронет, события миновали, и река вошла в свои берега...»

Едучи, думал: неужели и впрямь опять еду туда, где встретил когда-то страшное начало этих «событий», откуда бежал в одну из самых зловещих октябрьских ночей семнадцатого года и где уже никогда не чаял быть снова! Не верилось, что я опять увижу это «пепелище», пока не увидел собственными глазами давно знакомые места и лица.

А затем было очень странно видеть всё прежнее, своё, собственное, чьим-то чужим, — чьим именно, никто ещё не знал толком во всей деревне, — странно взглянуть на

все эти столь грубо одичавшие за пять лет «берега» и, в частности, на те изменения и разрушения, что произошли в усадьбе за время пятилетнего мужицкого владычества над ней... снова войти в тот дом, где родился, вырос, провёл почти всю жизнь, и где теперь оказалось целых три новых семейства: бабы, мужики, дети, голые потемневшие стены, первобытная пустота комнат, на полу натопанная грязь, корыта, кадушки, люльки, постели из соломы и рваных пегих попон... Стёкла окон, из зимних рам, теперь никогда не вынимаемых, точно покрыты чёрными кружевами — так засидели их мухи.

На деревне встретили меня ласково, сами дивились на то, что произошло, с жалостью разглядывали мою бедную одежду и все говорили, что надо хлопотать, чтоб разрешили эту аренду «на вечность». Но ведь дом-то оказался занят, и в доме ко мне отнеслись, конечно, совсем по-другому, особенно бабы. Те тотчас заявили без всякого стеснения: «Какая такая аренда? Ну, нет, никакого мира мы и знать не хотим, из дому не выйдем!» И я тотчас же понял, что и впрямь как-то нагло и

глупо влез я в этот дом, в эту чужую, уже крепко внедрившуюся в него жизнь.

Провёл я в Никольском всего двое суток.

Уехал, зная, что уезжаю теперь уже навеки.

На днях встретил на Кузнецкой Никольского Степана, стоит перед пустой витриной магазина и пристально смотрит; на голове шапка, на плечах тулуп, на ногах валенки, хотя жара градусов тридцать. Обрадовался мне, как родному, стал упрекать: «Напрасно вы погордились — жили бы себе на спокойе, у нас теперь не хуже прежнего, всё хорошо, тихо». И тут же рассказал, что вышло недавно по близости от Никольского «нехорошее дельце»: остановились возле деревни на большой дороге цыгане и свели с деревни ночью лошадь, а мужики в лоск положили за это весь табор; убили целых шестнадцать человек мужчин и женщин и одного маленького цыганёнка; дрались весь день, с утра до вечера — цыгане защищались не на живот, а на смерть, особенно один, совершенный красавец, отец двух таких же красавцев сыновей, которые так рядом и легли с ним.

## VI

В прекрасный сентябрьский вечер шёл в Данилов монастырь. Когда подходил, ударил большой колокол. Вот звук! Золотой, глухой, подземный... На могиле Гоголя таинственно и грустно светил огонек неугасимой лампы и лежали цветы.[2] Возле стояли старичок и старушка, старомодные на редкость. Я спросил, кто это так хорошо содержит могилу. Старичок ответил: «Монахи. А вы думаете, что всё погибло? Нет ещё...» — затрясся и заплакал. Старушка взяла его под руку: «Пойдём, пойдём, ты совсем впал в детство», — и повела его, плачущего, по дорожкам к ворогам.

## VII

Нынче с утра Москва стояла в ослепительном солнечном свете. Вышел на улицу — день совсем летний, как часто бывает в Москве в апреле. Легко и с удовольствием шёл вниз по Воздвиженке, прямо на солнце, по сухому тротуару. День праздничный, на улице много молодого народа. На солнечном углу, на повороте на Моховую, бодро похаживал и поглядывал оборванный малый, щеголевато покрикивал низким, хрипучим от дур-

ной болезни голосом, предлагая прохожим собрание сочинений Ленина, будто бы новое и «общедоступное». Прохожие усмехались, шли мимо. И вслед каждому он кривил рот и, вбок прикрывая его рукой, хрипло и быстро добавлял: «Есть похабненькое...» Постовой грозил ему с улицы пальцем, но тоже с усмешкой. А впереди меня всё время бежал мальчишка в женских разбитых башмаках, продавал свежий номер еженедельного журнальчика, во всю первую страницу которого изображён был Бог-Отец, сидящий на облаках и недовольно разглядывающий сквозь громадное пенсне афишку, последний советский декрет... Я на целый день уехал из Москвы — целый день провёл в деревне, в одной усадьбе.

Пока я сидел в вагоне, стали находить облака, стало скучней и прохладней. Потом, когда я шёл к усадьбе со станции, стал ещё очевидней этот обычный обман ранней весны. В эту пору всегда резкая разница между городом и деревней и всегда портится утренняя погода к полудню. Так было и тут. Солнце скрылось за облаками, подул ветерок... Но и в

этом была весенняя прелесть. Свежий запах земли, ветер сладко холодит щёки, дует в рукава... Потом я с радостью увидел апрельскую наготу старых деревьев усадьбы, её ещё серого и сухого парка, сквозившего своими сучьями на холодном облачном небе. В усадьбе не было, конечно, ни души — только сторож с семьей в своей сторожке. Я сидел на скамье в главной аллее, ведущей к дому. Солнце лишь порой проглядывало из-за облаков; всё вокруг было тихо, мертво, пустынно — только тикали какие-то птички по парку; палевые стены и белые колонны пустого, безмолвного дома дивно и безжизненно светили в конце аллеи из-за голых ветвей и стволов... Наконец, подошёл сторож с трубкой в зубах, повёл меня к дому, отворил ключом главные двери и пошёл за мной, стуча сапогами по навощенным полам, сперва по вестибюлю, где стыдливо и грациозно стояли нагие мраморные богини, потом по бесконечным ледяным залам, среди целой галереи портретов, тускло блестевших со стен своими черными лаками и затвердевшими, помертвевшими красками, косо провожавших нас с двух сторон млечно-голубы-

ми белками глаз, меловыми париками, яичной округлостью женских грудей... Зашли в женскую спальню с кожаной мебелью, с овальным заржавленным зеркалом... Смотрел и думал: как поверить, что всё это следы жизни, подлинно бывшей когда-то, что люди этого дома и впрямь жили здесь! Спросил сторожа: «Скучно вам, небось, тут?» — «Скучно, — ответил он. — Говорили, новый строй, новый строй, а на деле всё в прежнем положении. Один подлог, обман...» Потом он опять запер дом и ушёл к себе, а я бродил вокруг дома, по парку. Заглянул в окно в полуподвальный этаж — увидел сквозь железную решетку какое-то подземелье, заваленное мраморными обломками — львиными головами, урнами и плоскодонными чашами, капителями колонн...

Ушёл я из усадьбы только вечером, когда месяц уже стал класть в парке лёгкие апрельские тени под деревьями и серебрить поляны. Уходя, думал: ночью парк побелеет под месяцем, мёртвый дом засветится насквозь, всеми своими пустыми, блестящими покоем...

## VIII

Был на суде.

Подсудимый крестьянин Волоколамского уезда. Мальчиком был отдан в обучение к «богомазу», затем и сам стал «богомазом». В молодости «ознакомился с революционной и материалистической литературой», сделался «убежденным атеистом». Продолжал, однако, заниматься иконописью — вплоть до самого октябрьского переворота. Тут вступил в партию, зачислен был на «первые московские пехотные курсы», «вёл работу по реорганизации кадетских корпусов», после чего был назначен комиссаром тамбовских командных курсов, сражался в рядах курсантов «против мамонтовских и антоновских банд, заслужив среди товарищей глубокое уважение, как стойкий и честный коммунист», и наконец, демобилизованный в прошлом 23 году, получил назначение на должность директора волоколамской фабрики. «Как же случилось то, что совершил он в апреле нынешнего года и что привело его на скамью подсудимых в московской Губсуд?»

Перед судом — человек небольшого роста, коренастый, крепкий, опрятно одетый, с чи-

сто выбритыми щеками и красиво седеющей острой бородкой, с большой блестящей плешью на черепе и с удивительным спокойствием на лице, — истинное воплощение житейского благополучия, сознания недаром прожитой жизни, умной и холодной рассудительности, стойкой воли и непоколебимого резонёрства, по справедливой характеристике газет.

— Подсудимый, расскажите всё дело по порядку.

— Я сблизился с убитой мною Надеждой Чиж, будучи комиссаром тамбовских командных курсов. Она была уборщицей при курсах. Сначала была приходящей, затем поселилась у меня. Жениться я на ней не думал и никогда не обещал ей этого, ибо считал и считаю такое оформление брака излишним. Однако она вскоре стала требовать именно этого. Я стремился развить её — напрасно: читать ничего не хочет, посещать образовательные лекции и чтения — тоже... Все мечты и желания сводятся к тому, чтобы получше одеться, завить-ся, напудриться... Вижу: суцая обывательница, как нельзя более далекая от склонности к

коммунизму, цинично пользующаяся своим положением приближенной комиссара, своими возможностями получить из продовольственного склада курсов наибольшее количество продуктов, лишнюю пару ботинок, лишний отрезок сукна на пальто... Легко понять, насколько дискредитировала она меня своей некультурностью в глазах курсантов как коммуниста и борца.

— Так что, собственно, за это вы и убили её?

— Именно за это. И кроме того, за назойливость её.

— Как же было дело?

— На охоте. Пошел 4 апреля текущего года на охоту. Она за мной. Взяла с собой закусок, вина. Пришла в лесок. «Давай, говорит, присядем, закусим». Прекрасно. Срубил для неё можжевельника, она села, стала развязывать узелок. Повторяю то, что уже говорил дорогой: «Мы должны расстаться». Отвечает: «Не расстаться, а повенчаться». Возится, наклонившись к узелку, но говорит твёрдо. Тогда я тотчас выстрелил ей в голову, она упала, опрокинулась навзничь, не успев издать ни

звука. Меня даже поразила эта картина: череп настолько развалился, что из него выпало всё содержимое. Затем я вынул кинжал и стал резать труп на части. Разрезал на 16 частей.

— А для чего нужно было резать его?

— Для того, чтобы скорее растаскали труп птицы и звери, чтобы ликвидировать и скрыть следы преступления. Скрыть не от партии, конечно, а от обывателей.

— Как долго длилось всё это?

— Мы вышли в десять часов утра. Около одиннадцати сели закусывать. А домой я вернулся в два.

— Что же вы делали дома?

— Ничего особенного. Устал, был, конечно, взволнован. Выпил два стакана воды, сказал старушке мамаше поставить самовар, сам отправился в трактир за папиросами.

— А затем?

— Что, собственно? Не совсем понимаю ваш вопрос. Жил, как обыкновенно, делал своё дело, как всякий сознательный коммунист и строитель будущего.

Июль был мрачный — каждый день грозы, ливни: свинцовая чернота неба над жутко-белеющей Москвой, режущий блеск сургучных молний и ужасающие удары грома, от которых звенят стёкла. Недавно был такой потоп, что мальчишки-папиросники на Кузнецком и Неглинном разделись и плавали. В тот день я уезжал из Москвы к одним знакомым на дачу: вода местами шла выше колесной ступки, от неё кружилась голова...

Знакомые — муж и жена (и, как это ни странно по нынешним временам, в нашем кругу, молодожены); пара вообще не совсем обычная: она женщина молодая (и очень серьёзная), ему лет шестьдесят, хотя человек он очень живой, бодрый (небольшой, сухощавый, юношески лёгкий в движениях); оба занимаются русской историей, — он даже знаменит некоторыми историческими трудами. А дача — недостроенная бревенчатая изба в небольшом лесном посёлке; всего сто верст от Москвы, но в леса, в болота, к северо-востоку, и потому край опять глухой, старинный: «черное место, дикой лес, мокрая болотина...»

Жили мы скучно, неуютно. Изба не в по-

сёлке, а как-то сама по себе, на отлёте, на месте срубленного леса, среди пней, щепы и сучьев. Ещё без фундамента — только на столбах по углам, так что всё заходил под неё чей-то петух и очень рано будил меня по утрам, орал под самой кроватью. И, проснувшись, видел я только сырой лес кругом, пни в густом молочном тумане перед окнами... Самовар, который я ставил среди этих пней, набив его сырым древесным углём, дымил ужасно, выедал глаза, не грелся по часу, по два. А вода тут пахнет ужами, хлеб липкий, зелёный...

Муж ходил в довоенных сереньких штанишках и в мужицкой рубаше, на ногах носил лыковые бахилки. Жена одевалась совсем покрестьянски — тоже бахилки и суровая рубаша до пят, расшитая по рукавам и подолу красными ёлочками. И пленилась она так не только по необходимости: видела в этом опрощении свой долг и даже радость. Молчаливая, черноглазая, она всё твердила о древней, мужицкой Руси, к которой нам уже давно надо было возвратиться, о том, что русские пути особые, неисповедимые, что Бог послал нам великую милость — пострадать и в стра-

даниях, как в огне, очиститься... Сны она видела только вещие, думы думала всё загадочные, многозначительные. Имела какого-то тайного наставника, духовного отца, старца святой жизни, собиралась идти осенью к Серафиму Саровскому, который, по её словам, предрек наши дни в точности: открылось будто бы некое рукописание, где собраны все его пророчества...

Когда я уезжал, хозяева провожали меня до станции. Мы шли несколько вёрст лесом. Над соснами, над просекой, по которой мы шли, скоплялись сизо-белые облака, не обещавшие ничего доброго. И точно — как только мы подошли к станции, чёрный локомотив, уже стоявший за ней и яростно шипевший из-под себя белым паром, шумно осыпало крупным дождем с градом...

## Х

Наш «Рюрикович» наконец отстрадался. Жизнь его была ужасна: голод, нищета и чухотка истинно сжигали его, — я ни у кого не видал таких пылающих глаз и такой худобы. А меж тем, никто из нас даже и сравниться не мог с ним в той лёгкости и даже весёлости, с

которой нёс он все свои страдания и лишения. Это меня всегда поражало за эти годы: чем знатнее был человек в своё время, тем легче и проще вступал он во все испытания новой жизни. А покойный даже и среди таких людей выделялся. Точно ничего и не случилось! Всё то же оживление, шутки, всё те же «друзья мои» к каждому слову и детские мечты, планы: вот-вот жизнь станет лучше, свободней, и все мы из Москвы уедем, оснуем на Кавказе поселок — под солнцем, у моря, в виду гор, вечно сияющих снегами, в чинаровых рощах, в цветущих тропических дебрях...

— И уж тут с нами не сладишь, — смеясь, говорил он, — батраки, бедняки, коммунисты! И как ещё жить-то будем! Вон сестра Маша пишет: «Я теперь хожу в лаптях, работаю у мужиков на поденщине...» И что же? Я уверен, что она счастлива.

Умер он в полдень. Я записал: «Полдень 12 декабря 1924 года». За час до его смерти выглянуло солнце, и он, лежа в своей каморке на продранном диване, сказал грустно и ласково:

— Вот и солнце, а я его уже не вижу...

На этом же диване и положили его — в остатках чистого белья, в черном сюртуке и серых брюках...

## XI

В жаркий майский день ходил в село Измайлово, вотчину царя Алексея Михайловича. Выйдя за город, не знал, какой дорогой идти. Встречный мужик сказал: «Это, должно быть, туда, где церква с синим кумполом». Шёл долго, устал. Но весна, тепло, — было очень хорошо. Увидал, наконец, древний собор, с зелёными главами, которые мужик называл синими, весенний сквозной лес, а в лесу стены, древнюю башню, ворота и храм Иосифа, нежно сиявший в небе среди голых деревьев позолотой, — в небе, которое было особенно прекрасно от кое-где стоявших в нём синих и лазурных облаков...

Теперь тут казармы имени Баумана... Идут какие-то перестройки, что-то ломают внутри теремов, из которых вырываются порой клубы известковой пыли. В храме тоже ломают. Окна пусты, рамы в них выдраны, пол завален и мусором, и этими рамами, и битым стеклом. Золотой иконостас кое-где зияет ды-

рами — вынуты некоторые иконы. Когда я вошел, воробьи ливнем взвились с полу, с мусора и с иконостаса в дырах, с выступов риз над ликами святых...

А как знаменита была когда-то эта вотчина! Вот кое-что из одной старой, редкой книги о ней:

«Роци 115 десятин. Роци, числом 5, заповедные. Роца цапельная, где жили цапли. Зверинец. Плодовые сады числом 32, аптекарские огороды. Регулярный сад. Виноградный сад. Волчий двор. Житный двор в 20 житниц. Льняной двор для мятия льну. Скотный двор в нём 903 быка, 128 коров, 190 телиц и 82 тельца, 82 барана, 284 свиньи. Конюший двор, в нём 701 иноходец, кони, кобылы и мерины. Воловий двор. Виноградная мельница. Пивоварня, медоварня, солодовня, маслобойня. Птичий двор, в нём лебеди, павлины, утки и охотничьи куры многих родов. На мукомольне 7 мельниц. Стекланный завод... Церквей каменных 3, деревянных 2, дворов поповых 5 и 11 причетников. Воксал для блистательных представлений. Мост, мощный дубовыми брусьями... 27 прудов, в одном щуки, в другом

стерляди, каковым щукам царевны вешали золотые сережки и кликали в серебряные колокольчики...»

Суздальские земли грустны даже летом. Лесистые холмы, река. Краски — зелёные, лиловые, синие — густы и неприятны.

Нынче к вечеру небо на закате обложилось непогожими тучками, по реке пошла кирпичная рябь. Какие-то мужичишки-рыболовы, выплыв на реку, стоя и качаясь, наклоняясь в своих долбленых челнах, вытаскивали бредни. Я долго смотрел на одного из них, качавшего своим челном реку, на его кривые ноги, на изломанное личико с серой проседью под размятым тёплым картузом, на линючую ситцевую рубашку на впалом животе... Вот они, создатели, зиждители суздальских обителей!

В одной из этих обителей мне попалась рукопись древнего монаха: «Замогильные летописи созерцателей». В ней есть такие строки:

*О, жилище немятежное ближних моих друзей!*

*Мирное обиталище всех утрудших в ней!*

*Ветроград пустынный, краснейший Эдем!*

*Небурное пристанище, юдоль, сладкая  
всем!*

Вечерами в городе великая уездная глушь. Долго не темнеет, бесконечно стоит тускло-синий сумрак в пустых и широких улицах без единого фонаря. Медленно бьют часы на древнем монастыре... для кого? Город точно вымер. Ложатся спать с вечера — целая вечность до утра! Мой сосед по жесткому дивану на постоялом дворе, какой-то мещанин, который спит, не раздеваясь и не разуваясь, всю ночь страшно скрипит зубами — точно новыми сапогами...

Видел одного местного начётчика. Он в поддевке, нескладно шаткий и высокий, с бледными глазами. Пользуется большой славой. За ним приезжают из деревни, возят его на религиозные диспуты. Священное писание знает наизусть. Говорит очень громко, убеждённо, сосредоточенно — и не позволяет сказать в ответ себе ни слова. Мужики восхищаются:

— Какие учёные люди ни приезжали — не гожаются. Никуда! А какой мелкий приедет, с двух слов забьет — и шабаш!

### XIII

На Волге видел Макарьевский монастырь. Нанял лодку. Рыжий мужик, первобытный волгарь-рыбак, не спеша ворочал веслами, стоя в ней, и по зеркальной, тихой воде подвёл её к самому монастырю, к его древним стенам, из-за которых глядели главы шести соборов. В соборах всё как было чуть не тысячу лет тому назад — незапамятная и нерушимая Русь: чёрные, средневековые лики икон, чёрная олифа... Но монахов в монастыре осталось всего несколько человек. Живут тем, что возят по приволжским городам (на пароме) древний чудотворный образ. Я, когда плыл к монастырю, как раз встретил этот паром. Он шёл ещё медленнее нашей лодки, в глубоком молчании. Золотые хоругви, белый престол с образом, белые балахоны возцов и чёрные ряды сопровождающих образ. Все фигуры — и белые и чёрные — сажень ростом, великаны...

### XIV

В августе ездил в Троицкое, поместье Румянцева.

За станцией — не то лес, не то парк, дикий,

дубравный. На выезде из деревушки — памятник, очень странный в соседстве с мужицкими избами: Екатерина в греческом шлеме и какая-то богиня со змеей вокруг ноги, а под ними надпись:

«От Екатерины дана сему месту знаменитость, навсегда оглашающая заслуги графа Румянцева-Задунайского».

За мостом через ручей, среди вековых берез, — церковь с двумя колокольнями, напоминающая некоторые римские церкви. В часовне при ней стоит громадная яшмовая гробница последнего Румянцева. Возле часовни — огненный куст настурции.

Кругом, из-под тёмных деревьев, сквозь их стволы, видны далекие деревни, сине-лиловые леса, золотом горящие на солнце жнивья.

Дальше — бесконечно длинная, страшно высокая аллея. Ещё дальше — развалины дворца, пролёты в развалинах стен...

## XV

После дождей — опять светлая, тихая осень. Ехал барином: заливной звон колокольчиков под расписной дугой, тарантас, тройка... Только тройка — три задранных

клячи, тарантас — допотопная рухлядь, ямщик — в сплошных заплатах. И ни души встречной за всю дорогу. Ямщик сказал:

— Теперь всё пошло на старый жребий!

В монастыре Саввы собор 14 века, теперь запечатанный. Поднялся на крутую гору, на Старое Городище. Там тоже древняя церковь — одиноко белеет на самой верхушке; за ней древние земляные укрепления, вековые сосны. Кругом ясная и чёткая пустыня полей и лесов, солнечная тёплая колкость...

## XVI

Вчера весь день несло страшной вьюгой. Ночью, возвращаясь домой, думал, что погибну в снежной пустыне своего переулка. Это в Москве-то, в двадцать пятом году двадцатого столетия!

Нынче пришлось быть возле Красных ворот. Вечерело, было снежно, тихо, всюду тоска и грусть. Вспомнил, что тут, где-то близко, в Хоромном тупике, находится загородный дом Ивана Грозного. Отыскал тупик, спустился немного и вошел в ворота широкого, занесённого снегом двора. Неожиданно открылась какая-то странная глухая усадьба, и спе-

реди и с боков состоящая из теремов с крыльчками и маленькими окошечками. Снег был свеж и настолько глубок, что я тонул по колени. Единственный след чьих-то очень больших ног вёл к главному крыльчку. Я пошёл по следу, надеясь, что в доме кто-нибудь есть, — там теперь музей. Поднялся на крыльчко — дверь оказалась заперта, хотя на ней и висело под стеклом объявление, что музей открыт каждый день от девяти утра до пяти вечера. Я стал стучать — ни звука в ответ. Откуда-то из-за дома вышел мужик в тёплом картузе, в длинной стёганой куртке и, не обращая на меня внимания, пошёл по двору. Я его окликнул:

— Музей открыт?

Он приостановился:

— Закрыт. По воскресеньям только открыт.

— А почему же висит объявление, что открыт каждый день?

— Да так висит, не снимают...

Я подошел к нему, и мы вышли из снега к крыльцу одного из флигелей.

— А что, интересно в музее?

— Есть люди — интересуются, говорят, хорошо.

— А как по-вашему?

— Как-то не могу понять. Не могу вам разъяснить. Там, конечно, разное украшение старинное, разные орудия, всякие топоры, молотки... Все собирали...

Он легонько вздохнул. По его тону можно было заключить, что он хочет высказать какую-то более глубокую мысль.

— А где же дом самого Грозного? Средний и есть?

— Средний. На его собственную ассигновку строен. Четыреста лет, говорят, стоит...

Он опять вздохнул:

— Да. Жили-наживали, хозяйство приобретали... Темнело, и опять стало белеть в воздухе, опять пошёл снежок на этот глухой обширный двор, на старые, с грубыми деревянными лафетами пушки, которыми обставлен он...

## XVII

Прошное воскресенье провел в Троицкой лавре. Облазил все стены, все башни, подземелья...

В соборе, там, где стоит открытая серебряная рака, горит только одна лампада. Мощи как-то мелко лежат на дне раки, в каких-то почерневших, до ужаса древних остатках ветоши... Кругом плотная толпа — бабы, мужики, старухи с крысиными глазами. Ни страха, ни благоговения, ни вздохов, ничего. Только любопытство, кое-какие замечания, иногда остроты и смех...

В ризнице — кафтан Грозного: потёртая золотая парча на голубом шелку, с золотыми шнурами. Концы рукавов истёрты особенно... Тупо смотрят и на кафтан.

Во дворе собора по-прежнему нищие калеки, недужные, «пораженные язвами и червья воскипением...» Лежат, сидят, переползают... Костыли, лохмотья, головы, повязанные платками и тряпками, безносые или безгубые, с кровяными, как бы выдранными глазами или с оловянными бельмами, тщетно ищущими зрения... «Подайте слепому, безрукому... Кормители, питатели... Обратите внимание...» Бодро и деловито прошли среди этой орды два рослых монаха: один здоровый мужик в гимнастерке и грубых сапогах, в чёрной шля-

пе, другой в рясе — круглоликий красавец Алёша Попович с шелковистой каштановой бородкой, с тёмно-синими, как бы налитыми маслом женскими глазами... Всё ещё Русь, Русь. Но уже на исходе, на исходе.

## XVIII

Опять весна, и опять живу в большой глуши — в тех самых краях, где несколько веков тому назад жил подвижник, про которого сказано:

*Ты в пустыню суровую,  
В места болотные, непроходимые  
Поселился еси...*

Городок маленький, деревянный. Основан чуть не в самом начале Руси, стоит на мутной речке, нижний берег которой болотист, серебрится кустами ольхи. Середина города окружена высоким земляным валом с тремя проходами. На валу ещё заметно место, где была когда-то сторожевая башня. Вал зарос густой травой, в траве высыпали по весне жёлтые лилии. За валом собор, несколько деревянных домишек, два государственных здания и три берёзовых аллеи, в которых поют птицы.

Некоторое пространство в этом зелёном кремле не застроено и тоже зарастает какими-то цветами. Тут же пруд, отражающий берега и весну. Вода имеет цвет фиалки. Возле пасутся лошади. Полное затишье, ветер сюда не заходит...

Я живу не в городе, а за городом, на горе. Город с церквями и собором внизу, на широком разлужье, полускрыт тополями и липой. С горы открывается даль: перевалы, холмы, кое-где покрытые лесом, кое-где полосами запашек и озимей, идущих вниз как бы холстами: запашки — розоватыми (от песчаной земли), озими — ярко-зелёными. Дальше, за холмами, леса всё гуще и темнее...

Край этот церковный, монастырский: куда ни глянь, всюду монастырь. Слева от меня, совсем близко, белеет каменной стеной и башнями по углам женский монастырь двенадцатого века. Он наполовину скрыт столетними, уже засыхающими деревьями, весь осел, врос стенами в свои зелёные берега. Вечерами под его тяжёлые ворота с золотым крестом над ними идут чёрные фигуры монахинь. Справа — скит, дальше плоскодонный лог, а за

ним невысокий холм, на котором, под старыми деревьями, раскинут старый погост, где козодои, не смолкая ни на минуту, тянут всю ночь напролёт всё одну и ту же жужжащую ноту. Птица эта очень идёт к скитам. Вылетает она беззвучно из-под самых ног, повеется над головой, бесшумно трепеща крыльями, и опять упадёт на какую-нибудь могильную плиту. Глаза у неё — два красных карбункула. Могильные плиты на погосте мшисты и загажены птицами, мшистые кресты серы, мягки, точно на них фланель. Есть, конечно, развалившийся склеп богатого купца, нелепый и безобразный, из чёрных окон-дыр которого пахнет нечистотами. А рядом чей-то новый крест, под которым лежат свежие цветы и густо вьются пчелы...

В монастыре есть могилы очень древние. Как-то, возвращаясь с вечерней прогулки, вошёл во двор монастыря, прельщённый красным огоньком, горевшим в келии под навесом деревьев монастырского сада. Были уже сумерки — полусвет северной ночи. Во дворе было пусто. Золотой ангел с крыши притвора благословлял двор. В притворе чернели две

рясы, белели два капюшона. Одна из монахинь была молода, нежна, тиха. Я попросил её показать, где на монастырском кладбище могилы самые древние. Она достала из ниши фонарик, зажгла его и повела меня в полумрак сада, среди смешанных весенних запахов — и сладких, и терпких, и каких-то водянистых, травяных. Иногда она останавливалась и освещала могилы. В полусвете фонарика выделялся её белый капюшон. Она разыскала старую-старую могильную плиту, вросшую в землю особенно глубоко, всю во мху, в порах и углублениях, суженную к изножью. Буквы, насечённые на ней, покрытые мохом совсем чёрным, гласили:

«Лета такого-то (шестьсот лет назад)... схимонах Ферапонт... рода Долгоруких...»

Когда я уходил, монахиня поклонилась мне в пояс. Колокола били часы. Колокола здесь есть шестнадцатого века. Среди этой северной ночи их серебряная певуче дрожащая игра над монастырским садом и городом очаровательна. Особенно поздней ночью, когда всё спит. Ночь же здесь прозрачная, бледная. Что-то бледно-лимонное, тонкое освещает

небо. Венера стоит высоко, играет каким-то тающим, просветлённым блеском. Мохнатая лесная зелень в этом прозрачном свете беловата и кажется мягкой, как лебяжий пух. В полночь светает. Лимонный свет становится ярче, леса — темнее, сырее, бархатней, и запахи цветов, очень сильные ночью, тонут в одном, особенно сильном запахе ландышей...

## XIX

У стен одного из т-ских монастырей встретил монаха из уезда. Он отвязывал от дерева старую лошадь с вытекшим глазом, запряжённую в старомодную колымажку, на дрогах, с загнутыми сзади полурессорами. Очень маленького роста, в сером подряснике и чёрной шляпе; лицо худое, длинное, редькой, в оловянных очках; на грудь спускается по плечам два жгута волос, маслянисто-каштановых, с серебром. Разговорились, я присел к нему в колымажку, и мы выехали за город, поехали по лесной дороге. В пути он стал рассказывать про свой монастырь, про хозяйство, которое там опять понемногу налаживается. Рассказал также про святого, основавшего монастырь, и про знаменитого юродивого,

погребённого в монастыре. Юродивый был «как бы Голиаф», ходил в одной рубахе, под которой носил целый пуд тяжёлой собачьей цепи (до сих пор хранимой в монастырской ризнице). Пришёл в монастырь неизвестно откуда, ископал себе поблизости от него, в дремучем ельнике, землянку. Каждый день, услышав монастырский колокол, приходил к монастырской церкви и становился на паперти, стоял на ней босиком и в одной рубахе, даже зимой, не боясь ни морозов, ни метелей. После обедни являлся в хлебодарню, залезал в печь и закрывал за собой заслонку, говоря: «В аду ещё жарче будет!» Как-то раз не пришёл. На другой день тоже. Монахи стали тревожиться: не случилось ли чего? А как нарочно шла сильная метель. Стали бить в колокола. День и ночь, сквозь бурю и снег, в дремучих еловых лесах, в снежном густом бору, гудел колокольный звон — его всё не было. Когда стихло пошли искать по лесам окрест — не нашли и в лесах. А потом пошёл как-то на медведя мужик — и видит: лежит юродивый возле своей хижины, окруженный сугробами, но не на снегу, а на весенней зелёной траве,

посреди благовонных цветов...

## XX

На престольный праздник возле уездного монастыря была ярмарка.

Нищих, калек, убогих, слепцов с поводырями стеклоь без счёта.

Во время обедни всё это лежало и сидело на траве у стен монастыря, со всеми своими палками, мешками. Особенно выделялись коричневые до блеска, до перламутра, сожжённые солнцем и до костей иссохшие старцы с голыми черепами, да один страшный малый: вместо носа, губ и части подбородка у него было что-то сплошное, вроде огромного шрама лилового цвета, с дырой посередине в кулак величиной, куда он запихивал сразу половину французской булки и мял её остатками мышц и связок. Ужасней всего было то, что это был человек очень веселый, голубоглазый (хотя и в кровавых веках) и мял булку даже для потехи...

Когда из монастырских ворот, из-под расписных сводов, показалась парчовая рака, вся эта толпа бросилась к ней, давя друг друга, слышались крики, вопли. Пение, ладан,

чёрные рясы монахинь, эта рака, медленно плывущая над головами, и эти крики, вопли... Позади всех, задрав голову, слепо и неотразимо пыряя вперёд палкой, не поспевая за поводырем-мальчишкой, бежал мужик в бельмах...

А на ярмарке стоял балаган, гремел, бил в медные тарелки оркестрион, и всё прочее являло картину, тоже давно известную: гам, говор, дикий и дурацкий крик клоуна, зазывавшего в балаган на представление, густая толпа баб, мужиков, девок, белые баранчики в телегах, тонкое ржание жеребят с замшевыми мордочками, острый запах лошадиного навоза и растоптанного сена, малый, сидящий на земле с шарманкой между ног и под её рев и свист поющий во весь звонкий голос:

— Все пташки, канарейки...

А на крылечке чайной, под красным флагом, — кумовья и сваты: раскрасневшиеся от чаю и сивухи лица с мутными, умиленными глазами, головы и бороды мудрецов Эллады...

Воротясь на постоялый двор, лёг на деревянный диван, очень утомлённый долгим шатанием по ярмарке, и закрыл глаза. Погода

портилась, — в неприкрытое окно дул холодный ветер, слышался всё усиливающийся шум деревьев... На минуту забылся, потом очнулся: дождь частой дробью осыпал стекла, остро сверкали молнии, сквозь гром и сердитый шум деревьев с ярмарки ревел «Интернационал».

## XXI

Был ещё в одном монастыре (опять в другом краю). Пришёл рано утром. Золотыми сердцами горели на солнце монастырские кресты. В церкви шла служба, из раскрытых церковных дверей несло пение. Церковь была пуста — только по обеим сторонам её, против боковых алтарей, стояли в два ряда чёрные монахини, с чётками в руках. Царственно-суровая игуменья, положив левую руку на чёрный посох с жёлтой костяной рукояткой, стояла против средних царских врат в высоком дубовом кресле, устремив взор на высоко уходящий вверх золотой иконостас, весь покрытый ликами святых, мужчин и женщин, списанных с членов одного древнего рода. Служба шла стройно, спокойно, возгласы и чтения звучали с нарочитой безжиз-

ненностью, ровно и бесстрастно, высокими женскими альтами, пение неожиданно прерывало эту безжизненность минутами сладостных или скорых излияний вдруг оживавших душ. А двери церкви были раскрыты на воздух, светлое летнее утро окружало монастырь, радостно и мирно сияло в окрестных полях и росистых перелесках...

Когда служба отошла и монахини, под звон колоколов, под жарким солнцем, стали расходиться из церкви в разные стороны, к своим кельям, я спросил у одной из них, где монастырская библиотека. Она указала мне на часовню, возле которой была пристроена какая-то особая келья. Я пошёл туда, постучал в дверь. Вышла мужественная монахиня с чёрными внимательными глазами, вся в чёрном, с белой коленкоровой наколкой на голове. Выслушав меня, помолчала, потом ввела в келью. Я увидел две маленьких комнатки, необыкновенно чистых, озарённых солнцем. В одной горела на столике розовая лампадка, было необыкновенно уютно, пахло чем-то очень приятным. Другая была заставлена книжными шкапами, там стояли два стола

для чтения. Монахиня дала мне каталог, сама села на подоконник, всё продолжая следить за мной серьёзными и даже пронзительными глазами. Я выбрал историю монастыря. Монахиня, найдя её, подала мне и вышла. Я, невольно стараясь быть как можно скромней и тише, сел читать и делать выписки возле раскрытого окна, за которым шёл ровный лепет зелёной древесной листвы...

Между прочим, я узнал, что под монастырем находится громадное подземелье, сплошь уставленное гробницами предков того рода, с лиц которого списаны святые на иконостасе в церкви. Историк монастыря, перечисляя гробницы, даёт и краткие жизнеописания погребённых в них. «В гробнице такой-то погребён такой-то, обезглавленный царем Иваном Васильевичем Грозным... В гробнице такой-то — тот-то, убиенный в 1612 году...». В следующей — «отрок Сергей, убитый лошадью; родился в 1698 году, преставился в 1715; был иноком с четырнадцати лет; красавец собой, одаренный несравненным для пения голосом, страстью к музыке и большими познаниями в оной, с детства стремился он к Богу и

вечности, куда и восхищен был преждевременной кончиной своей...»

В полдень, простясь с монахиней и выйдя из кельи, пошёл к склепу, откуда идёт спуск в это подземелье. Однако спуститься в него не решился: только заглянул между прогнивших и провалившихся досок пола в его тьму, увидел две каких-то громадных осмоленных колоды — и поскорее пошёл прочь...

## XXII

И ещё одно старинное место.

Из полутьмы большой гостиной, в окна которой глядел одичавший сад, прошёл в ещё более просторный, но светлый зал, весь позлащённый солнцем, сияющий зеркальным паркетом. Опять портреты... Неужели не украшали старинные художники этих женщин? Особенно поразил меня один молодой женский портрет, глядевший со стены сквозь золотистую солнечную сетку, падавшую на него из сада. Несравненная прелесть форм, облитых тонким шёлком, неземная красота восторженных очей, их чистейшей небесной бирюзы! В библиотеке — портрет старинного владельца усадьбы. Что-то вольтеровское, как

часто это бывало в те годы: белый густой парик, нежное румяно-жёлтое лицо с впалыми щеками, едкие, пронизательные глаза и тонкая линия рта. Сколько уже лет молча смотрит он на эту молчаливую комнату? А комната такая, что, кажется, так и остался бы в ней навеки: низкие книжные шкапы с инкрустацией, золотые узоры на кожаных и сафьяновых корешках за их стеклами, посредине, под дубовым полированным столом, горит на солнце красный бархатный коврик, по лаковому полу блеск и игра лучей, а за широкими полукруглыми окнами — безбрежные серебристые леса... В «Расходной книге» этого имени прочёл между прочим: «Отпущено псарю Тимофею 60 аршин алого атласу на кафтан...» и мысленно увидел охоту, несущуюся по этим серебристым лесам за каким-нибудь лосем, который мчится от собак по кустам и полянам, вывалив на сторону закушенный язык... Потом смотрел другие книги: откуда и в них, в самый расцвет благосостояния, таких тонких и сильных вкусов к жизни, эти вечные стремления «К Богу и вечности», эти горестно-возвышенные упрёки земле и человеку?

*Почто, о человек! Стремись  
Всегда за счастьем земным?  
Неужли ты надеждой льстишься  
Вовеки наслаждаться им?*

*Приморские Альпы, 1930*

# Богиня разума[3]

I

Я записал этот день:

«Париж, 6 февраля 1924 г. Был на могиле Богини Разума».

II

Богиня Разума родилась в Париже, полтора века тому назад, звали её Тереза Анжелика Обри. Родители её были люди совсем простые, жили очень скромно, даже бедно. Но судьба одарила её необыкновенной красотой в соединении с редкой грацией, в отрочестве у неё обнаружился точный музыкальный слух и верный, чистый голосок, а в двух шагах от улочки Сэн-Мартэн, где она родилась и росла, находилось нечто сказочно-чудесное, здание Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой девочки рано стали туманить обольстительные мечты, надежды на славную будущность. И случилось так, что мечты и надежды не только не обманули, но даже в некоторых отношениях превзошли ожидания. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой Оперы, не только пе-

ла и танцевала на её сцене рядом с знаменитостями и вызывала восторженные рукоплескания, являясь перед толпой олимпийскими богинями, — то Дианой, то Венерой, то Афиной-Палладой, — но и попала в историю: 10 ноября 1793 года она играла на сцене, которую никогда не могла и вообразить себе, — в Соборе Парижской Богоматери, выступала в роли неслыханной и невиданной, в роли Богини Разума, и затем — *apres avoir detrone la ci-devant Sainte Vierge*[4] — торжественно была отнесена в Тюильерийский дворец, в Конвент: как живое воплощение нового Божества, обретённого человечеством.

Погребена Богиня на Монмартрском кладбище. Как не взглянуть на такую могилу?

### III

Я давно собирался это сделать. Наконец поехал. В солнечный день, уже почти весенний, но довольно пронзительный, с бледно-голубым, кое-где подмазанным небом, я вышел на улицу и спустился в ближайшее метро. Сквозняки, бегущая толпа, длинные коридоры, цветистые рекламы, лестницы все вглубь и вглубь и наконец совсем преисподняя, её

влажное банное тепло, вечная ночь и огни, блеск свода, серого, рубчатого, глянцевого, как брюхо адского змия... Через минуту я уже стоял в людном вагоне, мчался под Парижем и думал о Париже времён Богини Разума и опять — о её удивительной судьбе, её удивительном образе.

Современники писали о ней: «Одарённая всеми внешними дарами, какие только может дать природа женщине, она есть живая модель того античного совершенства, которое являют нам памятники искусства; при взгляде на её стан и очерк её головы тотчас является мысль о грозной эгиде и шлеме Афины-Паллады, и она особенно на месте в тех ролях, где черты лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздать богинь...» Это писалось, когда ей было уже лет тридцать пять. Можно себе представить, как прекрасна была она в двадцать, в те годы, когда она выходила на сцену в короткой тунике, в легких сандалиях на стройной ноге, с золотым полумесяцем на высокой причёске, с луком в длинных округлых руках, Дианой Девственницей! Примадонной, дивой Обри никогда не стала; мате-

риальное её положение было незавидно — всего несколько сот ливров в год жалованья да угол в родительском доме; положив за кулисами лук, сняв белила и румяна, сбросив тунику и закрутив волосы простым узлом, она надевала грошовое платье и бежала домой, дома же хлебала гороховую похлёбку и укладывалась спать в чердачной каморке. Но справедливо говорили, что мадемуазель Обри tres sage,[5] — простодушие, милая лёгкость, нетребовательность всегда отличали её характер. И вот «народ, разбивший оковы рабства, достойно прославил её 10 ноября 1793 года», обессмертил «ce chef-d'oeuvre de la Nature»,[6] как галантно назвал её Шомет, представляя Конвенту. И много лет после того распевали уличные певцы стихи Беранже о ней:

*Estce bien vous? Vous que je vis si  
belle  
Quand tout un peuple entourant  
votre char  
Vous saluait du nom de l'immortelle  
Dont votre main brandissait  
l'etendard?*

*De nos respects, de nos cris  
d'allegresse,  
De votre gloire et de votre beaute,  
Vous marchiez fiere: oui, vous etiez  
deesse,  
Deesse de la Liberte.[7]*

#### IV

Возле Оперы я вышел на свет Божий. Добродетельные греки были правы: небо, солнце, воздух — высшая радость смертных, трижды несчастны тени, населяющие ширококватное царство Гадеса. Бедная Тереза Анжелика Обри, бедная Богиня Разума! Как бы это лучше уяснить себе разумом, почему и за что уже сто лет гниет в земле «ce chef-d'oeuvre de la Nature»?

Солнце, всё-таки ещё зимнее, уже склонялось, был самый людный час, и несметное множество народа и экипажей затопляло площадь в его зеленоватом жидком блеске. Пешеходы бежали, автомобили и омнибусы медленно текли страшной ревущей лавиной. Я поймал свободный автомобиль, вскочил и поехал дальше. Из одного длинного и узкого уличного пролёёа глянул на меня с высоты

Монмартра бледный восточный призрак собора Sacre Coeur...

## V

В автомобиле я добросовестно постарался вспомнить возможно подробнее и представить себе возможно яснее всё, что знал о 10 ноября 1793 года.

Какой был тогда Париж? Бог его знает, какой, слабо наше воображение, не велик разум. Ну, конечно, был Париж уже и тогда огромным городом, со множеством садов и поместий, с прекрасными зданиями, но и с лачугами, с лужами и грязью даже на площадях, с грубыми средневековыми мостами через патриархальную Сену... Левый берег вообразить легче, — столько ещё сохранилось там прежних узких улиц и узких нелепых домов. Зато собор всё тот же. Как странно, — всё тот же, как тогда, когда стояла под его сводами, на бутафорских скалах, возле Храма Премудрости, прелестная Тереза Анжелика Обри!

И на мгновение я довольно живо почувствовал душу Парижа в те годы, тот развал жизни, то нечто бездельное, праздничное и жуткое, то владычество черни, которым веет

в воздухе во времена всех революций. И был сырой осенний день с сильным холодным ветром, сменившим ночной проливной дождь, и всюду, — на мостах, в улочках, ведущих к собору, и особенно на площади перед ним и в нём самом, — было великое, как бы ярмарочное многолюдство, и поминутно раздавался над городом грохот пушек, салютующих коронованию Нового Божества. А Новое Божество стояло под сводами собора, dans cet edifice cidevant dit eglise metropolitaine,[8] на скалистой горе, возле белоколонного храма, в красной шапочке, в белой хламиде, опоясанной пурпуровой лентой, с копьём в руке — и два хора des adoreurs de la Liberte[9] — тоже во всем белом, в венках из роз, возжигали перед ней ароматы, воздавали ей поклонения и протягивали к ней обнажённые руки:

Descends o Liberte, fille de la Nature![10] —

а густая толпа «патриотов», переполнявшая собор, ревела и рукоплескала...

## VI

Монмартрское кладбище было когда-то за городом, и вероятно, было уютно, мирно, похоже на рощу, на большой сад. Теперь всё рас-

тущий город окружил его отовсюду, включил в себя. А так как оно лежит в низменности, то через эту низменность перекинут теперь длинный и тяжкий железный мост, по которому беспрерывно идут и едут, катятся с глухим гулом валкие омнибусы, несутся и на разные лады вопят автомобили, гремят и звенят трамваи. И вот первое, что ударило по моему чувству и зрению, когда я достиг места вечно-го пристанища Богини Разума: этот чёрный грубый мост, под которым проезжают к железным воротам кладбища и который день и ночь грохочет над покойниками. А затем произошло нечто совсем неожиданное.

Я хорошо знал, что славная Тереза Анжелика Обри была забыта ещё при жизни весьма основательно, а впоследствии уже настолько, что целых сто лет даже историки, специально занимавшиеся изучением «великой» революции и в частности культа разума, почти все были убеждены, что знаменитую революционную Богиню изображала m-me Maillard, балетный кумир тех дней, пока не догадались заглянуть в уцелевшие газеты от 11 ноября 1793 года. Но я как-то не подумал об

этом хорошенько, да отчасти и был прав: ведь всё-таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть в каждом новом учебнике. Мне всё-таки представлялось, несмотря на все мои горестные мысли о ней, что по крайней мере хоть на кладбище-то её могила есть нечто и всем ведома. Поэтому отчасти была прости-тельна наивность, с которой я обратился к первому встречному: где могила Богини Разума? Однако встречный посмотрел на меня как на помешанного:

— Богиня Разума? Что это такое?

Я пояснил. Но встречный развел руками и резонно посоветовал мне обратиться лучше в кладбищенскую контору.

Тогда я ещё увереннее направился в контору. Каково же было моё удивление, когда и в конторе мне ответили на мой вопрос вопросом же:

— Это ваша родственница, г-жа Обри? Но совсем нет, — сказал я, опешив.

— Она давно погребена?

— В январе 1829 года.

И тогда на меня выпучили глаза:

Помилуйте, да вы смеётесь! Можем ли мы

знать всех погребённых здесь сто лет тому назад!

— Но неужели никто не посещает эту могилу, и я первый справляюсь о ней у вас?

— Кажется, первый! Обратитесь к какому-нибудь сторожу, может, он случайно знает по надписи на памятнике, если таковой есть и надпись сохранилась...

## VII

А затем я спросил о знаменитой могиле у полной, с чёрными усиками женщины, стоявшей на пороге конторы, предполагая и ней привратницу. В самом деле, это была привратница и к тому же очень живая и толковая, — эти полные с усиками всегда такие. Но и она о могиле не имела никакого понятия. А затем я тщетно расспрашивал сторожей, встречавшихся мне в голых аллеях, по которым я ходил не менее получаса, оглядывая надписи на памятниках. Затем опять обратился к встречным дамам и господам в трауре... И один господин ни с того ни с сего (вернее, с расчетом хоть чем-нибудь удовлетворить сумасшедшего искателя знаменитых могил) предложил мне взглянуть на могилу Зо-

ля. Эта могила была в двух шагах от меня, на пригорке. К вечеру совсем засвежело, небо над кладбищем стало ещё бледнее, низкое солнце холодно и резко освещало ледяную и блестящую наготу безобразно-громадной глыбы красного гранита, на которой не было ни единого религиозного знака, ни одного слова Писания, — очевидно, тоже в честь Разума. Над глыбой стоял на цоколе терракотовый бюст — молодежавый мужчина лет тридцати, щеголевато-демократической артистическо-рабочей наружности, с длинными волосами и в блузе. Я взглянул и, закурив, рассеянно сделал несколько шагов по аллее, потом зачем-то в сторону, среди деревьев, крестов и памятников, где местами лежал серый снежок. — «Ну и Бог с ней, с этой Богиней Разума, — подумал я, — пора домой», — и вдруг увидал себя как раз перед её могилой...

И присев на соседний надгробный камень, я уставился на могилу в полном изумлении.

## VIII

Да, так вот оно что: даже на кладбище ни единая душа не знает и знать не желает о какой-то Богине Разума, некогда коронованной

вот в этом самом Париже, под древними сводами собора Парижской Богоматери. Но мало того: что же это такое перед моими глазами?

Перед моими глазами было старое и довольно невзрачное дерево. А под деревом — квадрат ржавой решётки. А в квадрате — камень на совсем плоской и даже слегка осевшей земле, а на камне — две самых простых каменных колонки в аршин высоты, покосившихся, изъеденных временем, дождем и лишаями. Когда-то их «украшали» урны. Теперь колонки лишены даже этих украшений: одна урна совсем куда-то исчезла, другая валяется на земле. И на одной колонке надпись: «Памяти Фанни», на другой — «Памяти Терезы Анжелики Обри».

— Est-ce bien vous?[11]

Неужели это правда, что это именно она, она самая, мадемуазель Тереза Анжелика Обри, лежит в земле в двух шагах от меня?

Там ещё есть гнилые, смешавшиеся с землей остатки гроба, правильно лежащие кости, зубастый череп... Это она? Конечно, она. А с другой стороны — конечно, не она... Мудрый разум, помоги, — я всегда в подобных

случаях совершенно теряюсь и путаюсь!

Но разум не помогал.

## IX

Бесспорно, судьба Обри была удивительна. Но удивительна больше всего в силу необыкновенных несчастий. В общем, она была истинно ужасна. И Обри, при всей независимости своей натуры, не могла не понимать этого даже в те дни, которые, казалось бы, должны были быть её лучшими днями.

Революция совпала с апогеем её красоты и молодости. И, казалось бы, что ж ей, молоденькой фигурантке, да ещё дочери ремесленника, революция? Только радость! А потом — «vous etes deesse, deesse de la Liberte!».[12] И жалованья прибавили, да ещё сразу вдвое... Но нет, слишком хороша она была по натуре для всех этих радостей.

На её глазах началась и целые годы длилась страшная гибель всей той жизни, среди которой она родилась, росла, мечтала о сцене и которая, конечно, только восхищала её своим блеском. Разрушает «старую жизнь» во время революций не презрение народа к ней, а как раз наоборот — острая зависть к ней,

жажда её. А у Обри даже и зависти не было. Ей нужны были, судя по её характеру, только рукоплескания (причём рукоплескания маркиза она, вероятно, всё-таки предпочитала рукоплесканиям трубочиста). И не могла она не чувствовать, не видеть, что такое есть то царство Братства и Равенства, в которое она попала, то «Жертвоприношение Свободе», — «l'Offrandea la Li-berte», — которое приказано было ежедневно разыгрывать в Опере и которое тоже, ежедневно разыгрывалось на улицах, в подвалах тюрем и на площадях с гильотинами. А Бог, церковь? Может быть, она была равнодушна к религии. Но всё-таки не могло не потрясать её и всё то, что делалось в те дни и с религией, вся эта вдруг начавшаяся по всей стране бешеная, зверская охота за священниками, грабёж и осквернение церквей и, как венец всего, упразднение Бога по комиссарским декретам и переименование в «Храм Разума» собора Парижской Богоматери, сперва даже было предназначено к полному разрушению. Могла ли быть горда и счастлива в такие дни вот эта самая милая, кроткая Тереза Анжелика, чьи кости лежат в зем-

ле предо мною?

## Х

Но она не только испытала весь этот общий кошмар, в котором несколько лет жила при ней вся страна. Над нею — уже лично над нею — внезапно разразилось нечто ещё более ужасное: «tout un peuple la satuaît du nom de l'immortelle», [13] то есть, говоря проще, заставил её играть самую дикую и постыдную роль в кощунстве ещё более неслыханном, чем все прочие. Прости ей, Боже, разве виновата была она! Ведь её именно заставили, заставила самая свирепая из тираний, тирания Свободы. Да она и сама не могла чувствовать себя виноватой. И всё же не сладко ей, вероятно, было. «Vous marchiez fiere, oui, vous etiez deesse de la Liberte...» О, пошлейшая из пошлостей! Конечно, в глубине души несчастной Терезы Анжелики была некоторая доля женской и профессиональной гордости. Конечно, порой голова её кружилась: ведь всё-таки она нынче, 10 ноября 1793 года, царица всего Парижа, первое лицо во всём этом небывалом и грандиозном, хотя и чудовищном торжестве, и играет роль, которую не играла никогда ни од-

на актриса в мире, и всё это благодаря своей красоте, тому, что она и впрямь есть истинный «chef-d'oeuvre de la Nature». Но вместе с тем какой неопиcуемый ужас должен был туманом стоять весь день над полуголой, до костей продрогшей и вообще до потери чувств замученной заместительницей Божьей Матери!

Повторяю, — и до 10 ноября испытала она уже не мало, неизменно участвуя во всей той напыщенной пошлости, которая каждый день шла, по приказу насквозь изолгавшихся изуверов, на сцене Оперы. Она, говорю, уже хорошо знала, что это значит в действительной жизни, все эти «l'Offrande a la Liberte» и «Toute la Grece ou se que peut la Liberte». Революционные вожди, как и полагается им по революционным обычаям, развивали сумасшедшую деятельность, каждый Божий день поражали город какой-нибудь новой выходкой, так что в конце концов и восприимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное уже теряло характер неожиданности. И всё-таки торжество 10 ноября свалилось на Париж (а на Обри ещё более) истинно

как жуткий снег на голову. «Pour activer le mouvement antipapiste», [14] Шомет в четверг седьмого ноября вдруг распорядился на воскресенье десятого о «всенародном» празднестве в честь Разума, о беспримерном кощунстве в стенах Парижского собора, а m-lle Обри было объявлено, что ей выпала на долю величайшая честь возглавить это кощунство. И приготовления к празднеству закипели с остервенением, и к воскресенью всё потребное, чтобы Бог и попы были посрамлены окончательно, было вполне готово. Всю ночь накануне лил как из ведра ледяной дождь. Утром он перестал, но грязь была непролазная и дул свирепый ветер. Тем не менее, с раннего утра загрохотали пушки, загремели барабаны, Париж стал высыпать на улицу...

## XI

И было великое безобразие, а для Обри и великое мучение, даже телесное. С раннего утра она, вместе с прочими «Обожателями Свободы», то есть с кордебалетом и хором, была уже в холодном соборе, репетировала. Потом стали собираться «патриоты», прискакал озабоченный Шомет — и началось торжество.

Потом — и все под стук пушек, пение, барабаны и шум толпы — четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свои дюжие плечи Обри вместе с её троном и понесли, в сопутствии хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «к народу», а затем в Конвент. И опять — давка, говор, крики, смех, остроты, а ноги чавкают по грязи, попадают в лужи, ветер рвёт голубую мантию и красную шапочку посиневшей Богини, кордебалет тоже стучит зубами в своих вздувающихся от ветра белых рубашечках, забрызганных грязью, а сзади высоко качаются над толпой шесты, на которых надеты, для вящей потехи, золотое облачение и митра Парижского Архиепископа. А в Конвенте — торжественный прием Богини всем «высоким собранием» во главе с президентом, который её приветствует «как новое божество человечества», «заключает от имени всего французского народа в объятия», возводит на трибуну и сажает рядом с собою... Тут бы, казалось, и конец. Но нет! Из Конвента Обри понесли, совершенно так же, как и принесли, назад, в собор! Вообразите себе хорошенько это новое путешествие и перечи-

тайте затем стихотворное красноречие Беранже...

## XII

Прошла революция, снова наступила Империя и снова Обри заставляла разом подниматься все бинокли и лорнеты при своём появлении на сцене. Звезда её стояла высоко, время, молодость, успехи сделали прошлое далеким сном. Но вот однажды, в один из самых блестящих вечеров, в присутствии самой Императрицы и её Двора, во время апофеоза, которым оканчивалось «Возвращение Улисса», в тот момент, когда Минерву-Обри медленно спускали с облаков на землю, «Слава» — я употребляю театральный термин того времени — «Слава», на которой восседала она, внезапно сорвалась и обрушилась... Когда-то Обри уступила однажды потребности любить, быть матерью — и стала ею. Теперь, после того, как её, окровавленную и изувеченную, принесли в уборную и привели в чувство, первое, что слетело с её губ, был крик: «Ради Бога, не пускайте ко мне Фанни, это испугает её!» А затем она тотчас стала умолять сказать ей правду: будет ли она в со-

стоянии снова играть, если останется жива?

Нет, играть ей больше не пришлось. Всеми вскоре забытая, калека, обеспеченная только скудной пенсией, она повела грустную и однообразную жизнь в бедной и маленькой квартирке, с болезненной, медленно умирающей Фанни на руках, и жизнь эта, к несчастью, длилась ещё много лет. Уличные певцы пели под её окнами:

*Je vous revois, et le temps rapide  
Tegait ces yeux ou riaient les  
amours...  
Resignez-vous: char, autel, fleurs,  
jeunesse,  
Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierte,  
Tout a peri: vous n'etes pas deesse,  
Deesse de la Liberte...[15]*

Но знала ли она, что всё это относится к ней? Нет, она даже этого не знала. Она знала только одно, знала и без Беранже: да, да, всё прошло, всё погибло, осталось действительно одно — покоряться судьбе да употреблять остаток сил на заботы о Фанни, на то, чтобы хоть как-нибудь обеспечить её после своей смерти. Она всячески хлопотала об устрой-

стве судьбы Фанни, писала завещание, прося добрых людей о ней да ещё о своих похоронах, — о том, чтобы всё было «прилично» и «чтобы поставили памятник на её могиле». И Бог дал ей под конец хотя и одно, но великое утешение: всё-таки Фанни пережила её, — Фанни успокоилась вот в этой самой могиле, что передо мною, через полтора месяца после её смерти...

А может быть, ей бы отраднее знать, умирая, что через полтора месяца она снова будет рядом — и уже навеки — со своею Фанни? Может быть, может быть... Что мы знаем? Что мы знаем, что мы понимаем, что мы можем!

### XIII

Одно хорошо: от жизни человечества, от веков, поколений остаётся на земле только высокое, доброе и прекрасное, только это. Всё злое, подлое и низкое, глупое в конце концов не оставляет следа: его нет, не видно. А что осталось, что есть? Лучшие страницы лучших книг, предание о чести, о совести, о самопожертвовании, о благородных подвигах, чудесные песни и статуи, великие и святые могилы, греческие храмы, готические соборы, их

райски-дивные цветные стёкла, органные  
громы и жалобы. «Dies irae» и «Смертью  
смерть поправ»... Остался, есть и вовеки пре-  
будет Тот, Кто, со креста любви и страдания,  
простирает своим убийцам объятия, осталась  
Она, Единая, Богиня богинь, Её же благосло-  
венному царствию не будет конца.

*16. V.24*

# Андре Шенье

Прочел Ленотра об Андре Шенье.

Мало кто знает, что знаменитый французский поэт был француз только наполовину. Ленотр рассказывает, что Париж и двор Людовика XV настолько поразили и очаровали «одного из восьми богатых вельмож», бывших в свите посла Оттоманской империи, вручавшего свои грамоты французскому королю в марте 1721 года, что этот вельможа, возвратясь на родину, в Стамбул, до конца жизни остался фанатическим поклонником Франции. Он даже свою новорожденную дочку назвал по-французски, Елизабет, и воспитал её в таком восхищении перед французским двором, что она до двадцати пяти лет ждала себе жениха не иначе как в образе прекрасного рыцаря из Парижа, а не дождавшись, вышла всё-таки за француза, за скромного советника французского посольства, Людовика Шенье.

Вот от этой-то мечтательной турчанки и родился Андре Шенье, говорит Ленотр. Когда ему сравнялось три года, родители его переселились в Париж. И он привёз сюда с собой, в

своём младенческом сердце, унаследованную от матери жажду прекрасного и ту страстность, что создают поэты, а мать — свои наконец-то готовые осуществиться мечты. Действительность, однако, оказалась и для него, и для неё очень жестокой.

Низкое небо, грязная мостовая, дома с обсыпавшейся штукатуркой, серая трудовая толпа, мелочность нравов, ничтожность черни, спесь знати — таким представился г-же Шенье Париж. Двор, который она могла видеть только издали, показался ей только скучным гнездом интриг и честолюбий. А к этим разочарованиям присоединились денежные и хозяйственные заботы. Средства семьи были скудны, г. Шенье долго и понапрасну искал места. Наконец, ему предложили отправиться в качестве консула в Марокко. Он уехал и пробыл в отсутствии целых семнадцать лет. Когда же вернулся, был уже канун революции. И вся семья оказалась настроена весьма революционно.

Г-жа Шенье, с трудом воспитавшая пятерых детей, была ожесточена против общества, находила его отвратительным, ибо не

смогла при всех своих достоинствах и гордом сознании их, занять в нём положение. Не имея возможности выделиться при дворе, она замкнулась в кружке из нескольких остроумцев, скептиков и фрондёров, партизанов новых идей. Таких было тогда много. Они в сущности вовсе не желали разрушения старого мира, говорит Ленотр; но им очень нравилось критиковать его и легкомысленно желать победы утопистам. Эти любители туманного будущего и новшеств назывались в то время философами; они заигрывали с утопистами, как буржуа наших дней заигрывают с социализмом, забывая об ужасном пожаре, который, играя огнём, произвели наши предки сто лет тому назад. И вот к ним-то и тянулась г-жа Шенье.

Да тянулись и прочие члены семьи. А когда, наконец, революция разразилась, открыто стали на её сторону.

Брат Андре Шенье, Мари Жозеф, писал напыщенные трагедии, подписывался «шевалье де Шенье», письма свои запечатывал печатью с гербом и графской короной и раболепствовал, чтобы сыграли при Дворе его «Азе-

мира». Отец бегал и унижался перед сильными и знатными, стараясь получить пенсию. Когда же революция разразилась, сын и отец немедленно вспомнили каждый свое, — сыно, что его «Аземир» был освистан, а отец скудость пенсии, — и превратились в ярых демагогов. Мари Жозеф особенно отличился, — написал новую пьесу, настолько революционную, что она, по отзыву К. Демулена, «двинула дела гораздо быстрее октябрьских дней». И вышло таким образом, что судьба дала Андре Шенье видеть не только общую низость, которой поразила его революция, но и частную, в своей родной семье.

Андре долго жил в Лондоне, совсем не интересуясь политикой и предаваясь только развлечениям, которых требовала его сильная и горячая натура. Но в 1790 году он возвратился во Францию и попал в вихрь всеобщего энтузиазма. Тут, не за страх, а за совесть, он на время страстно поверил «в обновление человечества, достойное благ Свободы и подчинённое всемогуществу Разума».

Однако время это длилось не долго: он был для революции слишком умён, зряч и благо-

роден. Он быстро отличил в толпе, кинувшейся на добычу, наивных глупцов от убийц по найму и по инстинкту, и тотчас же принял участие в контрреволюционной борьбе с тем пылом, который называли даже «кровожадным» и который, конечно, состоял только в благородной ненависти к подлой кровожадности революционеров. Его душа, полная любви ко всему высокому, прекрасному и чистому, была потрясена зрелищем торжествующего мошенничества и зверства, попрания всех святынь и традиций, видом всей той циничной лжи, пошлости, грязи и тирании, которыми отличаются все «взрывы народного гнева», и он не мог не восстать на революцию, а восстав не мог не погибнуть. И гибель эта была ужасна.

В начале 1794 г. он скрылся в Версаль. Скрылся не из страха, а просто потому, что слишком устал от революционной мерзости. Измученный, он отдыхал здесь среди мраморных богов, полуразрушенных портиков, огромных водоёмов, где отражалось небо, лесных аллей и чащей. Сарду всего тридцать лет тому назад записал рассказ одного старика,

который часто видел Шенье в ту пору: это был, по словам старика, маленький, коренастый, смуглый человек с горящими глазами, квадратным лицом и огромной головой.

В первых числах марта Шенье тайно сообщили о предстоящем аресте его друга Пасторета. Он немедленно кинулся в Пасси, где Пасторет скрывался в доме родителей своей жены. Пренебрегая опасностью, он прошёл Сен-Клу, Булонский лес и вечером, в темноте, вошёл в Пасси, надеясь через несколько минут увидеть Пасторета и увести его в Версаль. Но было уже поздно: Пасторет был уже арестован, Шенье застал только его жену, в слезах и отчаянии. Он начал её утешать, ободрять, торопить бежать. Но вдруг — стук в дверь:

— Именем нации!

И через мгновение в дом ввалилась ватага «членов революционного Комитета Пасси». И началось всё то, что так страшно знакомо нам, свидетелям «великой российской революции».

Что это были за люди, спрашивает Ленотр, и какой историк достойно опишет, наконец,

их, громкие деяния?

Всё, что было мало-мальски честного в стране, уже давно прокляло «великую французскую революцию», старалось бежать от неё, терпеть её молча, жить в самом незаметном и скромном труде. Все отказывались от чести заседать в этих революционных комитетах, обязанность которых заключалась в шпионстве, доносах, арестах. Каким же людям были по вкусу эти обязанности! И тем не менее во Франции насчитывалось в то время более двадцати тысяч таких комитетов! Это ли не позор, не растление страны!

Для ареста Шенье, говорит Ленотр, не было никакого предписания, никаких указаний свыше. Но эти скоты были одарены каким-то животным инстинктом. Они верно учуяли аристократа в незнакомце, случайно ими встреченном. Они угадали, что в руках у них благородное и гордое сердце, хорошая добыча для эшафота, — угадали, несмотря на то, что все были пьяны, пьяны настолько, что глупость их превзошла все границы. Протокол допроса, составленный ими, состоял из такого нелепого набора фраз и был так чудовищ-

но безграмотен, что Шенье отказался подписать его...

Посадили Шенье в тюрьму Сен-Лазар, старое, грязного цвета здание за тремя железными решетками, похожее на гигантскую вонючую клетку для диких зверей, набитое сверху донизу узниками, которые вечно стонали и выли, чувствуя себя стадом, согнанным на двор бойни. И как только его посадили, он решил умереть:

— Приди, приди, о смерть, освободи меня, — пишет он, войдя в тюрьму.

Но могло ли его страстное сердце принять столь скорую и безмолвную смерть?

— Как? Умереть, не плюнув в лицо террору? Умереть, не узнав, не осмеяв, не повергнув в грязь палачей и словоблудов? Не оставив ничего, чтобы могло умилоствовать историю за всю тьму убиенных?

И Шенье остался жить, ждать казни, чтобы писать и проклинять. «И слава ему — говорит Ленотр, — слава поэту, выразившему возмущённую душу изнасилованной Франции, кинувшему из темницы анафему тем, кто обесчестил её!» Прекрасные слова. Только одну ли

Францию обесчестила её «великая революция»? Не всю ли Европу, не всё ли культурное человечество?

Казни шли непрерывно, изо дня в день. И поэтому Шенье не скоро дождался своей очереди, — его казнили только в первых числах Термидора. Родные его оставались сторонниками революции, — брат был даже в среде наиболее могущественных вожаков, — и то ли поэтому, то ли по беспечности надеялись, что его просто «забудут» в тюрьме. В ужасе был один старик отец, который неустанно бегал по «комитетам», моля о снисхождении к сыну. В первых числах Термидора он дошёл до самого Барера и долго заклинал его, плакал перед ним. — «Прекрасно, — сказал наконец Барер, утомясь этой сценой, — твой сын будет через три дня свободен».

И точно, ровно через три дня, когда старик сидел в своей квартире, полный надежд на близкую встречу с сыном, в передней раздался звонок. Обезумев от радости, — уж не Андре ли это? — он кинулся к двери, распахнул её — и увидел Мари Жозефа: тот был так бледен, лицо его было так страшно и многозна-

чительно, что никаких сомнений больше не оставалось...

В самом деле, как раз в этот самый час Андре Шенье обрёл полную свободу: в этот час телега с двадцатью пятью обезглавленными трупами, среди которых был и труп Андре, покинула площадь, где совершались казни, и направилась за Париж, к одной заброшенной каменоломне. В эту каменоломню уже шесть недель подряд, изо дня в день, валили казнённых, и возле неё с утра до вечера предавались своему отвратному занятию некие люди, которые снимали с трупов окровавленную одежду и швыряли их затем в братскую могилу.

Так же, конечно, поступили эти люди и с одним из самых великих поэтов Франции, посмеявшимся «не принять революции», не поклониться перед её идиолом.

*Одесса, лето 1919 г.*

# Камилл Демулен

Ленотр, которому при жизни следовало бы поставить памятник за его труды по истории французской революции и развенчание многих «великанов и славных вождей» её, не пощадил и Камилла Демулена. При всей своей мягкости, жестокая вещь его очерк о нём!

Демулен родился и рос в благочестивой и патриархальной провинции, «в одном из благопристойнейших городов, где жизнь протекала без всяких событий и потрясений, где жили дёшево и просто, сытно и беззаботно». Демулен был сын скромного судьи, человека во всех отношениях невидного, хотя и почтенного, верного слуги своего короля. Что же толкнуло его на революционные пути? И как случилось, что имя этого заики славно и доныне?

Родился он в 1760 году, в Гизе. Учиться его отвезли в Париж: «чтобы хотя немного облегчить свой весьма ограниченный бюджет, судья выхлопотал для своего первенца стипендию в колледже Людовика Великого». И вот первое, что способствовало революционной

судьбе Камилла: схоластика, царствовавшая в те времена в воспитании и часто на всю жизнь отравлявшая людей лживыми, выдуманскими чувствами и мыслями. Демулен сам признавался:

— Нас воспитывали в благопочитании античных героев республики... Проникаясь восторгом перед Капитолием, мы не могли не почувствовать ужаса перед версальскими людоедами...

Последняя фраза замечательна по своей напыщенной пошлости. Но ведь есть и некоторое извинение ей. Справедливо восклицает Ленотр:

— Невозможно и определить, какая доля ответственности падает на тогдашнее легкомысленное преклонение перед античным миром в создании психики людей революции! Эти господа судили не Людовика XVI, а древнего «тирана». Они подражали диким добродетелям Брута и Катона. Человеческая жизнь не в праве была рассчитывать на милость этих классиков, привыкших к языческим гекатомбам. Член конвента Жавог, гулявший по улице голым, пренаивно считал себя за ис-

тинно античного человека...

Думаю, что Жавог был большой болван и далеко не наивный прохвост. И всё-таки в общем Ленотр прав: всякое время имеет свою заразу. В 1789 году Демулен писал отцу:

— Вы угадали, что я буду римлянином, окрестив меня Люцием, Сульпицием, Камиллом, — вы напророчили...

Конечно, строки эти были необыкновенно глупы и смехотворны, и тем более, что было Демулену в ту пору уже двадцать девять лет и одержим он был тогда далеко не римскими мечтами. И всё же есть даже и тут доля произвольного, заразы.

А заразился, он, повторяю, рано. Приехав в родное захолустье на первые каникулы, Камилл уже привёз её с собой: он горячо и без умолку говорил о Цицероне, о смерти Гракхов, осыпал проклятиями память сиракузского «тирана». В следующем году пыл его возрос ещё больше: он поднимал такой гвалт в доме, восхваляя блага свободы и понося деспотизм, что однажды некий важный гость, приехавший к судье по делу, «сгрёб мальчишку за уши и вышвырнул его за дверь». Так и пошло:

«Всё больше и больше влюбленный в Афины и в Спарту приезжал он домой на каникулы и с великим презрением осмеивал провинциальные нравы... А однажды на одном званом обеде дошёл даже до того, что вскочил на стол, давя фарфор и хрусталь, и стал орать, призывать к оружию, к восстанию...» Что было в этой театральной выходке? Конечно, была и доля искренности, хотя и весьма низкого свойства: Камилл был заика, безобразен лицом, нищ, честолюбив, жаден до благ земных, «сладкоморд», как говорят русские мужики.

«Львёнок томился тоской по арене...» А арена эта была Париж, который «он уже любил и желал завоевать». И вот кончив курс и заручившись адвокатским дипломом, Демулен «кинулся в водоворот парижской жизни». Но борьба за существование оказалась в этом водовороте столь трудна и жестока, что Демулен впоследствии никогда не проговаривался о том, что пришлось испытать ему, и его биографы поневоле очень скупы в своих сведениях насчёт его парижской жизни с 1784 по 1789 год, когда политическая случайность сделала из него демагогического журналиста. Сохра-

нилось, однако, несколько его писем к отцу, и они неопровержимо доказывают то, о чём так упорно молчал впоследствии этот до безумия самолюбивый, до сумасшествия стыдившийся нищеты революционер и римлянин.

Жил он эти пять лет то у отца на хлебах, то в Париже, — почти без всяких хлебов, конечно. Тут он порой выступал в судах. Но много ли было этих выступлений? «Без всяких связей, с отталкивающей внешностью, с трудом подбиравший слова и оттого ещё более заикавшийся, начинавший всякую фразу с мычания, с нечленораздельных звуков, он должен был фатально пребывать в безымянной толпе адвокатов без дел. А отец, и сам бывший всегда в стесненном положении и совсем не одобрявший ни образа его мыслей, ни его праздной жизни, — чем мог помочь ему отец? И вот, чтобы не умереть с голоду, Камиллу приходилось переписывать кое-какие судебские бумаги, а когда не было переписки, — ехал подкармливаться на родину или же писал отчаянные письма к отцу...»

Жил он тогда по соседству с домом одного богатого буржуа и частенько заглядывал в

него из своей мансарды, любуясь играми и смехом милой белокурой девочки, тринадцатилетней дочки хозяина. «Она являлась единственным светлым лучом в мрачной жизни этого бродяги, скептика, не видящего впереди никакой цели существования, чувствующего себя безобразным и старым, несмотря на свои двадцать пять лет... Он мечтал о недоступном ему семейном счастье, о заповедных для него тихих радостях... Он всё, всё готов был отдать за то, чтобы быть красивым, родовитым, богатым, его охватывала ненависть к существующему социальному строю, в нем просыпался бунтовщик, он сжимал кулаки с бешенством нищего, безработного...»

Созыв Генеральных Штатов окрылил его. Он почувствовал, что час его настает. Он мчится в родной Гиз, мечтая попасть в избиратели, добивается, что его вносят в списки, молит отца собирать голоса в его пользу, ведь он, Камилл, весь пылает беззаветной любовью к народу. Но отец отказывается от всякого вмешательства в политику, и Камилл проваливается. С сокрушенным сердцем возвращается он в Париж, полный ненависти к со-

гражданам, «этим антиподам философии и патриотизма», которые, конечно, были бы совсем иными, если бы выбрали его, и с лютой завистью к своему школьному товарищу Робеспьеру, которого послал своим депутатом Аррас, и опять изливает свои горести в письмах к отцу.

Эти письма изумительны по своей наивности, говорит Ленотр. Он рассказывает в них о своём невероятном пролазничестве, о тех трудах, кои он превозмог, чтобы обратить на себя внимание. Он признается в своем тщеславии и чревоугодии, — он таки-любил покушать, этот «философ», патриот, римлянин! Он втерся к Мирабо, поселился у него в Версале и пишет: «Мы сделались большими друзьями... Мы обедаем в изысканном обществе... Иногда мы пьем у его любовницы старые вина... Собственный стол его обилен, тонок... Мне придется употребить большие усилия, чтобы снова стать суровым республиканцем и возбуждать ненависть к аристократам...»

А затем события пошли с головокружительной быстротой, и знаменитая сцена в Па-

ле-Рояле сразу выдвинула Демулена в первые и наиболее славные ряды заклятых врагов короля и друзей народа.

«У него было многое, чтобы нравиться парижской толпе: талант к театральным, площадным эффектам, смелое зубоскальство, язвительность... Вот он вскакивает в Пале-Рояле на стол, возвещая этой толпе бездельников об отставке Неккера, выхватывает из кармана пистолет, мечет громы и молнии на головы воображаемых шпионов, кричит о набате Варфоломеевской ночи... И Париж засыпает под гул восстания, которое не утихает затем целых 7 лет, а Демулен возвращается в свою каморку знаменитым...»

Успех его особенно окреп после того, как он выпустил свои памфлеты: «Освобожденная Франция», «Речи к парижанам у фонаря», полные лести и гаерства перед чернью. «Он мечет стрелы, он бьет по дворянам, по священникам, по раненым, по мертвым... Ему всё равно, сохраняет ли достоинство его перо, — лишь бы о нём говорили!» И о нём говорят. Но материальные делишки его всё ещё из рук вон плохи. И опять, опять пишет он от-

цу:

— Все газеты курят мне фимиам. Но известность только увеличивает мой природный стыд обнаруживать свою нищету, в которой я не могу признаться даже Мирабо... Издатели меня надувают... А шум, вызванный моими памфлетами, поставил на ноги всех моих кредиторов... Молю вас прислать мне шесть луидоров. Я хочу использовать момент моей известности, — устроиться на квартире, иметь право внести себя в списки по выборам. Неужели вы так жестоки, что откажете мне в кровати и паре простынь?

И далее:

— О, что за скверная политика присылать мне по два луидора! Только подумать, что судьба моя зависит от обстановки, от квартиры! Имей я квартиру, я уже давно был бы председателем, комендантом округа, выборщиком от парижской коммуны, а вместо всего этого я только известный писатель, для которого легче произвести революцию, чем добиться от отца сразу полусотни луидоров... Я всю жизнь вздыхал по собственной квартире, а по вашей милости у меня в Париже только

меблированная каморка... Вы всегда говорите, что у меня есть ещё братья. Да, но между нами есть большая разница, — природа одарила меня крыльями... Пришлите же мне кровать или дайте мне возможность купить её здесь. Неужели у вас хватит духу отказать мне? В Париже я уже известен, со мной совещаются по поводу важных событий, меня приглашают на обеды... Мне только не достает квартиры. Умоляю вас, помогите мне, пришлите мне кровать или шесть луидоров!

Что мог думать старик о своем сынке, который ещё так недавно писал ему, что он римлянин, спартанец? Как было соединить «крылья» сынка и его жажду кровати? И всё-таки отцовское сердце наконец дрогнуло: деньги были посланы, и Камилл поселился возле Одеона, основал газету «Восстания во Франции» и скоро пошёл ещё больше в гору. «Тут он задирчиво, стилем грамотного вёдевилиста, с весёлостью литературного гамена, живым, полным неожиданностей и занимательности языком задевает самые важные вопросы, обрушивается на всё и на вся: его беспощадная ирония опрокидывает, разрушает,

заражает жестокостью... После него Террор был естественен. Он заранее высмеивает его жертвы и высмеивает так, что они уже не вызовут жалости...»

А вскоре после этого исполнилась и другая мечта Демулена: добившись славы, он добился и денег, — он разбогател, женившись на той буржуазной девочке, на которую он когда-то смотрел из окна своей мансарды и которая превратилась в барышню, в невесту. «У него лицо было желчного цвета, черты неправильны и жестоки, рот искривленный, на всей фигуре какой-то неизгладимый налет нищеты; а она была обворожительно красива и богата...» И всё-таки Демулен и тут добился своего!

Добился он, как известно, и многого другого. Женившись, получил в приданое сто тысяч франков, насытив свою затаенную страсть к хорошей обстановке, к «обильному и тонкому» столу и прочим буржуазным радостям, с головой уйдя в них и в семью, он скоро совсем остыл к революции. Но увы, она-то не забыла его. Она несла его всё выше, как растущая волна, на которую сам же он так хо-

тел попасть когда-то, а вознеся, жестоко сошвырнула с себя прочь. Сам Робеспьер был шафером на его свадьбе. «Но счастье делает человека снисходительнее», говорит Ленотр. «Женившись, начав жить в довольстве, Демулен счел революцию конченной, хотел даже вернуться к адвокатуре... Однако, когда республика была провозглашена, когда Дантон, уже министр, призвал его на пост генерального секретаря, когда он под руку с своей Люсиль входил в блестящий дворец на Вандомской площади, в нём опять проснулся прежний Камилл, он с упоением подумал о том, что теперь добрые обыватели Гиза должны лопнуть от зависти...» А кроме того, и не так-то и легко было удалиться в те дни под сень струй. «Попал в стаю, лай не лай, а хвостом виляй!» И Демулен участвовал в сентябрьских убийствах, голосовал за казнь короля... меж тем как в стае уже поднималась грызня и уже не было никакой возможности уклониться от этой грызни... Кончилось, короче сказать, тем, что «этот ужасный человек, этот литературный бездельник, этот революционный фельетонист должен был стать жертвой

той самой революции, которую он же и спустил с цепи... должен был взойти на эшафот под улюлюкание той же самой черни, которой он столько льстил, злобным и низким инстинктам которой он так горячо потакал...»

Жаль только бедную Люсиль. Ей-то за что отрубили голову?

# Красный генерал

## Рассказ Н. Н

Одна из вечерних прогулок...

Ясный апрельский закат, низкое чистое солнце, ещё не набитый серый просёлок, весенняя нагота полей, впереди ещё голый зеленоватый лес. Еду на него, — куда глаза глядят, — спокойно и распущенно сидя в седле.

От перекрестка беру к лесу целиком, по широкой меже, по грани среди жнивья. Она вся зелёная, но ещё по-весеннему мягкая, — чувствуется, как вдавливается в неё копыто. А возле леса, на жнивье под опушкой, ещё тянется длинный островок нечистого и затвердевшего снега. И ярко-голубые подснежники, — самый прелестный, самый милый в мире цветок, — пробиваются из коричневой, внизу гниющей, влажной, а сверху сухой листвы, густо покрывающей опушку. Листва шумно шуршит под копытами, когда я въезжаю в лес, и нет ничего радостнее этого напоминания о прошлой осени в соединении с чувством весны.

Шуршит и лесная дорога, — она тоже вся под листвою, — и далеко слышно это шуршание по лесу, ещё сквозному, раскрытому, а всё-таки уже не зимнему. Лес молчит, но это молчание не прежнее, а живое, ждущее. Солнце село, но вечер светлый, долгий. И Тамара чувствует всю эту весеннюю прелесть не меньше меня, — она идет особенно легко, подняв шею и глядя вперед, в далеко видную и ещё просторную сероватую чащу стволов, кругами идущих нам навстречу, выглядывающих друг из-за друга. Внезапно, как кол, сваливалась со старой осины мохнатая совка, плавно метнулась и с размаху села на берёзовый пенёк, — просыпаясь, дернула ушастой головкой и уже зрячим оком глянула крутом: здравствуй, мол, лес, здравствуй, вечер, даже и я теперь не та, что прежде, готова к весне и любви! И как бы одобряя её, на весь лес раскатился где-то близко торжествующим цоканием и треском соловей. А под старыми берёзами, сквозящими своей кружевной наготой на сероватом, но легком и глубоком вечернем небе, уже торчат тугие и острые глянцевито-темно-зелёные трубки ландышей.

Переезжая низы, смотрю вправо, вдоль оврага, густо заросшего грифельным безлиственным осинником, — там за лесом нежно, слабо разлился погожий закат. По дну оврага, среди тёмной чащи, среди подседа орешников, падает с уступа на уступ, журчит и холодно булькает ещё не иссякший паводок. Самый вальдшнепный притон этот овраг! Потом, всё так же шумно нарушая весеннюю тишину леса шуршанием копыт в листве, поднимаюсь по лесной дороге в гору, по глубоким гнилыстым колеям, промытым половодьем. Потом еду по широким полянам, где стоят, красуются, в отдалении друг от друга, вековые ветвистые дубы.

Широчайшая плотина лежит между двумя великолепными прудами, молчаливо отражающими в своих зеркалах эти дубы и вечернее небо. А за прудами начинается огромное пепелище Дубровки, — запущенные остатки бесконечного фруктового сада, разрушенных служб, от которых местами уцелели только груды кирпичей, заросших бурьяном, — и на половину вырубленная аллея столетних тополей ведёт на обширный двор. Прежде каждо-

го едущего по этой аллее издалека встречал страшный, гремящий по всему окрестному лесу лай знаменитых дубровских овчарок. Теперь я еду среди мёртвой тишины. Направо и налево — всё яблони и яблони, старые, раскидистые, приземистые. Венера на светлом западе так великолепна, что на земле под яблонями от неё серебрится и белеет впереди, на пустынном дворе, небольшой домик под тесовой крышей: это прежняя контора, в которой и живет теперь наследник Дубровки.

Двор перед конторой переходит прямо в поле, сливается с равниной, за которой прозрачно алеет на горизонте луна. И хозяин стоит на крыльце, курит и исподлобья смотрит на неё. Приподняв картуз, я хочу повернуть в поле, но, увидев меня, он поднимает руку:

— Halt![16] Штраф за проезд через чужие владения! Стакан чаю!

Делать нечего, притворно улыбаясь, придерживаю Тамару, от чаю отказываюсь, но всё-таки слезаю с седла, и Тамара идет по двору к водопойному корыту, а мы на-правляемся навстречу друг другу.

— Bonsoir, mon cher voisin, comment allez-

vous? — говорит хозяин. — Une petite promenade?[17] Вот и я тоже, стою и люблюсь красотами природы, как Марий на развалинах Карфагена...

Ему лет тридцать, он очень худ, тёмным лицом, давно небрит, у него стоячие черно-агатные глаза и страшно черная (коротко стриженная) голова под военным картузом без кокарды. Он в старых валенках, в рейтузах и в длинном сером пиджаке поверх грязной косоворотки. И он крепко жмёт мне руку и ведёт меня в дом, говоря, что самовар всё равно готов и что он сейчас прикажет дать корму Тамаре.

— А вы хоть папиросу выкурите, — говорит он, — я, откровенно сказать, погибаю от скуки... Je ne sais pas comment je me ne suis pas mort encore[18] среди этой пастушеской идиллии...

Темные сени отделяют бывшую контору от кухни. Дверь кухни открыта, и видно, что кухня полна дыма. Барышня лет пятнадцати, с двумя светлыми жидкими косами на спине, в лёгком ситцевом халатике и стоптанных мужёских туфлях, надевает трубу на самовар,

из которого и валит этот дым, необыкновенно густыми палевыми клубами.

— *Vite, vite, Berthe!*[19] — кричит хозяин и вводит меня в комнаты, без умолку продолжая говорить:

— *C'est la fille de femme...* то есть бывшей, конечно... Вы у меня тысячу лет не были, но, разумеется, всю эту историю от досужих соседей уже слышали... Эту девицу моя благоверная прикинула мне в наследство... *Dame!*[20] Я ничуть не в претензии, — прекрасной компенсацией служит то, что мудрый немецкий Бог надоумил-таки её наконец сбежать от меня. Вы ведь знаете, более нелепой женитьбы, чем моя, сам Мефистофель, не мог бы придумать... Черт знает, где, — в каком-то Ревеле, — черт знает почему... *Vrai, je ne sais pas comment cela m'est arrivee...*[21] Попал в цирк, увидел рыжую наездницу, — и, заметьте, далеко не первой молодости, — и через неделю женат... Глупо до восхищения, до крайнего предела...

Комнат всего две, — «*salon*» и «*chambre a coucher*», [22] как иронически говорит хозяин, вводя меня и извиняясь за их «лирический

беспорядок». «Салон» разделён деревянной перегородкой, за которой живет барышня. В спальне большая, не по комнате, кровать красного дерева, покрытая мещанским одеялом из разноцветных лоскутков, на одеяле валяется балалайка. В салоне стопудовый кожаный диван, из которого торчат клоки мочалы и горбами выпирают пружины, в простенке дивное овальное зеркало, а под зеркалом — грузный письменный стол, на зеленом сукне которого стоит недопитый стакан молока и лежат огрызки серых лепешек, счёты, махорка в надорванном пакетике и ржавая конская подкова. В комнатах сумерки, — окна их глядят на восток, в поле. Входим, садимся, — хозяин в кресло возле стола, а я на диван, — и принимаемся вертеть папиросы. Выдумывать разговора не надо, — хозяин ни на минуту не прекращает своей отрывистой скороговорки:

— Не хотите ли свернуть из моего антрацита? Впрочем, не неволю, это, знаете, действительно на любителя! *C'est affereux*, [23] но что же делать? А я, как видите, во всей усадьбе соло. Распустил кабинет. Остался один работник, — анекдотический болван! Вообра-

зил себя моим закадычным другом и по сему случаю пьянствует без просыпу. Вот и сейчас дрыхнет и угадайте, где? Вот за этой перегородкой! Терплю, — времена демократические! А всё-таки и его придется прогнать. И вообще — ох, уж мне эти милые поселяне! Право, они только в оперетках хороши. Я с ними рос, я сам, можно сказать, на половину хам, полукровок, — ведь, как изволите знать, та раувге мере[24] была всего-навсего беглая дворовая девка, — но, позвольте спросить, что у меня с ними общего? Хозяйство? Но какое к чёрту хозяйство при таком бамбуковом положении? Кроме того, лично для меня это совершенно сто двадцать пять букв китайской грамоты! Вы скажете, зачем же я в таком случае сижу на этом Чертовом Острове, почему не продолжаю служить? Но как служить, не имея средств? Быть в полку парием? — Да, но позвольте! Про лошадь-то вашу мы совсем забыли! Надо приказать дать ей корму...

Я знаю, что корму нет, — есть только гнилая солома, которую Тамара всё равно не станет есть, — и мне уже очень хочется уехать.

Я благодарю хозяина за радушие и прошу

прощения, говорю что, к сожалению, должен сейчас проститься! что не стоит беспокоиться, что я дал слово быть к ужину дома. Но он не слушает, просит выкурить ещё одну папиросу и, забыв о корме, опять пускается в беседу. И я опять курю и опять слушаю, как вдруг он снова тревожно вспоминает о Тамаре:

— Да нет, как хотите, а ей надо хоть клочок соломы бросить! Митька! Ты тут? — кричит он, оборачиваясь к перегородке.

Из-за перегородки слышен сонный, медлительный голос:

— Тут-та. Я ляжу.

— Вставай, поди убери лошадь, — гость приехал.

— Я пьян-най...

— Я тебе говорю вставай!

— Винца прежде да-ай...

— Каково ископаемое? — говорит хозяин с торжествующей усмешкой, и кричит в сени, в открытую дверь:

— Berthe, дай Митьке стакан водки! А вас, mon cher voisin[25] покорнейше прошу полюбоваться вот на это животное!

И он встает и широко открывает створча-

тые двери перегородки. Я заглядываю: за перегородкой светлее, там окошечко выходит на запад, и хорошо видно лежащего вниз лицом на железной кровати малого с белыми волосами, с большим мягким задом, в новой розовой смятой рубашке, подпоясанной почти под мышки зеленым поясом.

— Полюбуйтесь! — говорит хозяин. — Какого вам ещё больше равенства?

А по салону, нагнув голову, не глядя на меня, быстро проходит к шкафчику барышня, очевидно, за водкой. Тогда я говорю хозяину уже совсем решительно:

— Нет, дорогой, оставьте его в покое. Я всё равно должен сейчас ехать. Простите, пожалуйста, приеду, если позволите, в другой раз... И хозяин наконец сдаётся:

— Allons, bon![26] Не хочу разыгрывать демьянову уху! Но пройдемся хоть по саду. Скука в эти бесконечные вечера, повторяю, адова!

И мы выходим из дому, обходим его и идем по широкой дорожке между яблонями на тонкий свет позеленевшего заката и на низкую играющую розовым огнём Венеру. Хо-

зьяин разглядывает мой висок и усмехается:

— Однако мы с вами конкурируем в седне! Ну, да не беда, седые бобры дороже! Вот разве женский вопрос... Впрочем, тут Елен Прекрасных мало. Какая-нибудь идейная сельская учительница? Сбитые каблуки, потные от застенчивости руки... Вообще, не выношу провинциальных девиц! И фразы-то у них у всех трафаретные: Ну как вам нравится наш город? Видели наши достопримечательности? — Есть, впрочем, здесь одна в моем жанре — и, вообразите, кто — дочь станового! Ножка узенькая, прелестные сильные икры, в глазах этакое кашэ... *Je lui plais, j'en suis certain... Je parie qu'elle tomberait volontiers dans mes bras,*[27] если, конечно, повести правильную осаду... *C'est une affaire de huit jours...* [28] Я вам покажу её, если скоропостижно не сбегу в Петербург, заложив чёрту хотя бы душу. На меня нападает здесь форменный страх смерти, а ведь вы знаете, что у меня порок сердца, острая неврастения и прочая, прочая... В Петербурге, если и подохнешь внезапно, всё легче. Я уже завещал похоронить меня непременно на Балтийском вокзале. Если бы

вы знали, сколько воспоминаний связано у меня с этим вокзалом!

Темнеет. Венера переливается на горизонте за темной равниной уже пурпурным огнем. Слабо обозначаются тени под яблонями, — луна за домом уже светит, — и уже совсем свежо пахнет весенней землей. Вдали стонет пустушка, — стонет грустно, нежно и звонко, — хорошо ей в свежести и тишине апрельской ночи в этом старом фруктовом саду, выходящем прямо в поле! А хозяин говорит, говорит:

— Теперь единственная радость моей жизни — мой ещё не законченный роман, начавшийся год тому назад в Царском Селе... Ах, если бы вы знали, что это за женщина! Она замужем за нашим полковым командиром... Такой милый старикан, прелесть! Недавно переведен в Литовский полк, в Нарву... Она мне часто говорит: «Ah! Si mon mari mourait! One j'aimerais passer avec toi toute une nuit, m'endormir dans tes bras et me réveiller le lendemain sous tes baisers!»[29] — Я знал ещё её отца, действительный статский советник, но не симпатичный, сухой человек! Мы с ней

переписываемся! Достаточно одной телеграммы! — и она мгновенно будет тут. Но вы сами понимаете — могу ли я вызвать её сюда, в эту хижину дяди Тома?

Мы возвращаемся во двор и медленно идем к Тамаре. Уже лунная ночь, уже луна поднялась над полем, и Тамара в её свете стоит вдали черным силуэтом, а подушка седла, торчащего на Тамаре, блестит.

— Сколько она мне крови перепортила, ужас! — говорит хозяин с восторгом. — Но зато сколько блаженных минут! Отдалась безумно, дерзко. Однажды, понимаете, у них званый вечер, я приезжаю раньше всех, даже ещё и мужа нет, она одна в пустой гостиной — и... Elle ne songeait meme pas qu'elle etait en toilette qui risquait de se froisser...[30] Сразу, понимаете: «Je t'aime! Fais de moi ce que tu veux! Je me moque de tout!»[31] Вообще, черт знает что, звериная страсть! А потом, конечно, сцены: «Tu ne m'estirnes plus, je me suis donnee a toi trop spontanement»[32] — и бешеная ревность, хватание за руки: «Tu es a moi, n'est-ce pas, n'est-ce pas?»[33]

Тамара повернула голову при нашем при-

ближении и тихонько, радостно заржала, — очень соскучилась. Я пожал хозяину руку, сел и, обернувшись, помахал ему картузом. Он порывисто, поспешно затряс поднятой рукой. И Тамара сразу взяла полной рысью, прямо на луну, на светлое поле, чётко дробя копытами в чистом и свежем воздухе...

Каким далёким кажется мне теперь этот весенний вечер! Я вспоминаю его с разительной живостью, стоя под зимним дождем на константинопольской улице и предлагая проходящим купить газету. В этой газете я прочел о больших успехах по службе некоего «бывшего царского офицера», а ныне красного генерала, моего «дорогого соседа» из Дубровки.

*13. VI.24*

# Товарищ дозорный

**М**не было тогда двадцать лет, я жил у сестры в ее орловском имении. Как сейчас помню, понадобилась мне лишняя полка для книг. Сестра сказала:

— Да позови Костина...

Вечером Костин пришел, взял заказ. Мы разговорились, заинтересовались друг другом и вскоре стали как бы приятелями.

Он был мой ровесник. Помимо наследственного ремесла, — его покойный отец тоже столярничал, — он имел ещё и другое: самоучкой одолев грамоту, он добился того, что попал помощником учителя в школу, построенную возле церкви моим шурином, и даже переселился в неё, оставив мать, старшего брата и сестру в избе на деревне, так как уже стыдился мужицкой жизни, а кроме того, ещё и потому, что старший брат, человек хозяйственный, спокойный и здравый, считал его круглым дураком. И точно, был он довольно странен.

Он был очень высок и миловиден, слегка заикался и, как многие заики, цвет лица имел

девичий и поминутно вспыхивал румянцем. Робок и застенчив он был вообще на редкость, больше секунды глядеть в глаза собеседнику никак не мог. Сразу было видно, что он живет в каком-то своём собственном мире, что он втайне съедает необыкновенным самолюбием, страшной обидчивостью и мучительной завистью совершенно ко всему на свете, из которой проистекало его другое удивительное свойство: ненасытное, чисто идиотическое любопытство и обезьянство.

Видеться и говорить с ним было, в сущности, томительно. Он не говорил, а только всё спрашивал. Вся его речь состояла из одних настойчивых и подробных расспрашиваний, выпытываний: что, как и почему? Он с наслаждением повторил всякий ответ и тотчас же ставил следующий вопрос. Держит какую-нибудь вещь, взятую для работы, для поправки или уже сработанную и принесенную, внимательно оглядывает её, ощупывает, гладит своими большими руками — и мучит вас: расспрашивает буквально обо всём, чего бы случайно ни коснулся разговор, повторяет с удивленной и довольной улыбкой ответы и,

видимо, даже на мгновение не сомневается, нужно это ему знать или не нужно. Притом он свято верил положительно всему, что ни скажи. Я раз пошутил, — в Америке все вниз головами ходят, даже волосы у всех висят: он с удовольствием изумился, повторил и поверил. Вообще шуток он не понимал и не чувствовал совершенно.

И с утра до вечера, каждую свободную минуту, он чему-нибудь учился, неустанно обезьянничал: что ни увидит, что ни узнает, всему учится, всему подражает и всегда бесталанно, хотя и довольно точно. Чего только не умел он! Поправляя часы и гармонии, мой велосипед и лавочников аристон, переплетал книги и налаживал перепелиные дудки, на жалейках тайком учился играть и стихи писал... Всего и не упомнишь...

Конечно, он не пил, не курил, — тут его обезьянство уступало той женственности, которая отличала его натуру и, кстати сказать, производила впечатление довольно-таки неприятное; одевался со скромной нарядностью, — тонкие сапоги, пиджачок, вышитая косоворотка, новенький картуз, — и даже но-

совой платок носил с собой. В руках неизменно железный костылик.

Школа стояла рядом с церковной караулкой. В большие праздники мужики, приходившие к обедне, дожидались службы, курили и вели оживленные беседы всегда в караулке. Костин являлся туда раньше всех и внимательно слушал всё, что говорилось, сам, однако, в разговор не вступая, сидя в сторонке, внимательно что-нибудь разглядывал, — скалка, утюг, зазубренный топор, — и тая на губах чуть заметную довольную усмешку над мужицкой глупостью и болтливостью.

Я часто заходил к нему по вечерам: всегда дома и всегда что-нибудь прилежно работает. Горит тусклая лампочка на столе, а он сидит, гнётся возле неё. Косоворотка навывпуск, подпоясана шёлковым жгутом с мохрами. Лицо чистое, худощавое, но круглое, глаза с беле-сой зеленью, светло-желтые волосы, примасленные и причёсанные на косой ряд, падают прядью на лоб. Увидя меня, дружелюбно оживляется и тотчас же, слегка заикаясь и избегая глядеть в глаза, пускается в расспросы. Иногда вынимает из стола тетрадку и подает

мне:

— Йесть новенькие. Ппрочтите и обкритикуйте.

Я разворачиваю и читаю:

*Резвая струя в лугах бежит,  
Есть у нее удачное название,  
Как только пловца заманит,  
А он погибнет без сознания...*

— Это опять акростих?

— Акростих. Выходит: река. Только, конечно, ять нельзя вставить...

Хорошо помню, как я зашел к нему в последний раз.

Была поздняя осень, роковые дни для него и для меня — вот-вот надо было ехать в город, ставиться в солдаты. Наступила Казанская, оставалась всего неделя нашей свободы. Утром, чуть свет, я, помню, пошел к обедне, зашел в караулку, ещё горит лампочка, караулка полным-полна расцвеченными девками, бабами, мужиками и накурена, как овин; мужики галдят, а бабы и девки все поглядывают на нары под полатями, шепчутся и покатываются со смеху, валяются друг на друга; предмет смеха — обычный: Костин; он же сидит, опу-

стив глаза, и что-то разглядывает; на голове высокая шапка серого барашка, на ногах новые глубокие калоши, одет в новую тёплую поддевку черного сукна, лицо алое от обиды, но на губах улыбочка...

А вечером я побрёл к нему в школу. Грязь была страшная, тьма хоть глаз выколи. Сверху сыпалась и сыпалась мельчайшая мга. Я шёл через сад как слепой, чувствуя только одно: тьму, осеннее тепло, теплую душистую гниль мокрых деревьев, их коры и щекочущую влажную пыль на лице. Наконец забелел туманный огонёк впереди — знакомая лампочка на столе возле окна в школе — одинокий, единственный свет во всём селе, уже давно спящем мертвым сном. Костин спокойно сидел за работой с явным удовольствием оклеивал тонкими пластинками фанеры чью-то шашечную доску.

А на его работу тупо и странно-весело, блестящими кофейными глазами, смотрела сидевшая за партой возле стены небольшая бабочка с кудряшками на крутом лбу, молодая жена церковного сторожа, — совсем бы ничего себе бабочка, если бы не ничтожный носик

с заячьими маленькими ноздрями. Мне было не по себе, и я, притворяясь небрежным и шутливым, заговорил о том, что меня томило, — о поездке в город. Но, к крайнему моему удивлению, Костин совершенно не разделил моих чувств: напротив, его эта поездка очень интересовала и потому радовала.

— Ах, ннет, — сказал он, с увлечением продолжая работать, от этого почти не заикаясь: — я бы, кажется, попроситься стал, если бы меня не взяли. Надеюсь непременно попасть в Царство Польское. Два шага до Парижа!

И вдруг прибавил, кивая головой на свою молчаливую и всё только тупо улыбающуюся гостью:

— Вот она, по глупости, тоже оплакивает меня. Говорит, — влюбилась. А с какой стороны она может быть мне интересна?

Гостья страшно покраснела, смутилась и трогательно неловко ответила:

— Уж хоть бы не брехал-то! Дюже ты мне надобен! Он только небрежно ухмыльнулся.

Через неделю мы поехали с ним ночью на станцию, к шестичасовому поезду. Я взял его

к себе в тарантас. Он всю дорогу не спеша расспрашивал меня насчёт военной службы в других странах, а тарантас качался в темноте и тумане, невидимые лошади шлепали по лужам, оступались в колдобины, полные воды и грязи. Перед станцией стало трудно и угрюмо светать, стали, приближаясь, обозначаться мутные холодные деревья в станционном дворе... Помню, долго ждали поезда, наконец показался вдали, в мертвенно бледном рассветном тумане, белый, тяжело и густо клубящийся дым, потом черный паровоз, медленно выплывающий из мглистого моря осенних полей... И ещё почему-то помню: рядом с тем вагоном, в который мы сели, был арестантский вагон с железными решетками в квадратных окошечках, и возле одного окошечка стоял, держась за решетку руками в кандалах, худой старик в пенсне на горбатом носу, с красными веками; и очень странным казалось это пенсне в соединении с каторжной фуражкой, с серым блином без козырька...

А в городе было великое множество деревенского народа, с громким и озабоченным взором идущего серединой улицы, возле же

земской управы, где шёл прием, весь день стояла густая толпа, и чего только в этой толпе не было! Плач, вой, причитания, крики годных, буйно и отчаянно дерущих свои гармонии, — вся эта дикая и жуткая балаганщина, в которую русский человек с наслаждением облекает своё горе, всячески разжигая его в себе. А в приёмной зале, от самой входной двери, которая поминутно отворялась, в которую несло ледяной сыростью, и до самого присутственного стола, откуда раздавался необыкновенно звучный выкликающий голос воинского начальника, тянулась страшная шеренга голых тел, — коротконогих, худых (но неизменно пузатых), меловых, с коричневой сыпью от укусов тараканов на кострецах, там, где у каждого на теле была полоса от постоянно врезающейся оборки порток. Мы с Костиным пробрались вперёд и тоже стали раздеваться. Воинский начальник, стоявший за столом, в кругу присутствия, перед серебряной пирамидой с Распятием, быстро взглянул на меня и что-то крикнул особенно звучно. Он был молод, красив, затянут в мундир, преисполнен энергии; короткие волосы

его курчавились, длинные кудрявые усы торчали, светлые глаза зорким огнём освещали лицо. Костин, сидя и стягивая с себя сапог, замер и, весь алый от натуги и волнения, радостным шепотом спросил меня:

— Он самый главный и есть?

Через час его забрили. А через полмесяца мы с ним расстались — и очень надолго, на целых двадцать лет. Встретились же снова так.

Была осень девятнадцатого года. Наша армия только что оставила К. Я по некоторым причинам задержался на некоторое время, скрываясь всеми правдами и неправдами под видом самого дрянного мужичонка. А город уже наполнялся большевицкими властями и учреждениями, вступавшими войсками и обозами, и чекисты, во главе с каким-то товарищем Дозорным, уже работали не покладая рук. В ледяной солнечный день я шел однажды на главную улицу. Прошел мимо собора, глядя на голый городской сад, черневший напротив него, потом пошёл по тротуару вдоль бывших присутственных мест, увешанных красными флагами. Перед этими присут-

ственными местами тянется площадь и идёт дорога под гору, к мосту через реку. И вот, в ту минуту, когда я только что поравнялся с подъездом бывшей судебной платы, из-под горы вырвался и полным махом прямо на меня понесся небольшой конный отряд, а за ним — длинный могучий серый автомобиль. Всё это появилось так неожиданно и очутилось возле подъезда так мгновенно, что я невольно приостановился. Из машины же, меж тем, уже выскакивал высокий человек в белой папахе, в чудесной офицерской поддевке с белым барашковым воротником и необыкновенно щегольских офицерских сапогах. Бледное кошачье лицо его с желтыми усами было оживлено быстрой ездой, белевые глаза расширены. Он глянул — и бегом кинулся ко мне.

— Николой Николаевич, ввы? — слегка задохнувшись, быстро спросил он меня и до глаз залился алым румянцем.

И, не дав мне ответить и мучительно заикнувшись, прибавил:

— Йя Костин-Дозорный... И ннаслышан про вас... Так что уж — простите!

И обернувшись к двум башкирам, с винтовками в руках сидевшим на машине, крикнул, вбегая в подъезд:

— В ссад!

Меня скорым шагом, даже не обыскав, провели через площадь в сад, а через сад — к обрыву над речными обрывами и крикнули:

— Задом к речке!

Я стал и, мгновенно выхватив револьвер из кармана зипуна, в упор ударил в ногайскую рожу, стоявшую слева, и тотчас же задом упал с обрыва. Вторая рожа выстрелила по мне, потом сдуру кинулась назад за подмогой. Я сломал себе руку, а всё-таки ушёл.

8. VI.24

# Notre-Dame de la Garde[34]

**В**агон был полон рабочими, — было воскресенье.

Против меня сидел каменщик, длинный и худой, как Дон-Кихот, весь спечённый солнцем, морщинистый, заросший серой щетиной, испачканный известкой, вьевшейся в его одежду, в рыжую обувь и в руки, и не спеша жевал, поочередно отрезая кривым ножичком то ломтик сизой тугой колбасы, то кусок белого хлеба. Всё в нём было по-южно-му сухо, коряво, всё жестко и грубо, — одни глаза, безразлично и устало смотревшие на меня, были кротки и укоризненны.

Остальные были молодежь, итальянцы и провансальцы. И все они, не смолкая ни на минуту, быстро и непонятно говорили, раздражались хохотом и орали, громко шлёпали друг друга. Они то и дело, кто в лес, кто по дрова, затягивали «Интернационал» или хором кричали: «a bas la guerre!»[35] — хотя никакой войны нигде не было и не предвиделось, — и залихватски свистали.

На остановке в Сэн-Рафаэле по вагону про-

шли с опущенными глазами две монахини, кланяясь и предлагая купить бумажный цветок и, в придачу к нему, взять маленькую картиночку-изображение Марсельской Божьей Матери Заступницы, Notre-Dame de la Garde. Как ровен и чист был прекрасный цвет их молодых, нежных лиц, оттенённых черными капюшонами, как смиренны и девственны склонённые ресницы, как целомудренны прямо, аттически падающие линии черных ряс, подпоясанных длинно-висящим жгутом! Их встретили и проводили уханьем, визгом и мяуканьем. Я вышел вслед за ними, прошелся по платформе... Стены станции пестрели цветистыми плакатами античных руин, средневековых соборов; был тут автокар, полный туристов, поднимающийся по извилистой, идеально-живописной Альпийской дороге, был идеально-счастливый молодой человек, с открытой головой сидящий на руле в лёгкой и длинной машине, уносящей его к лазурному озеру, к идеально-светскому курорту... Солнце пронизывало листья дикого винограда, вьющегося по столбам платформы, делало зелень светлой и праздничной, и небо ярко, невинно

и молодо синело меж их гирляндами... Я пошел в конец поезда, где прицепливали, по-видимому, пустой вагон, пришедший с ветки. В самом деле, он был почти пуст. Я вскочил в него и едва успел сесть, как поезд тронулся дальше.

В вагоне сидело только двое: удивительной полноты молодая женщина, возле которой пламенели две корзины с крупными томатами, а напротив неё — престранная для французского вагона фигура, одна из тех личностей, от которых уже давно отвык мой глаз: старичок-странник. Женщина, несмотря на полноту и черные усики, цвела красотой и тем избытком здоровья и великолепной, пурпурно-лиловой крови, которые встречаются, кажется, только в Провансе. А старичок был легонький, сухонький, с босыми, темно-желтыми от загара ножками, с редкими и длинными бесцветными волосами, в которых сквозил коричневый череп, в белом балахончике и с двумя белыми мешочками по бокам, надетыми крест-накрест: совсем бы русский старичок, если бы не тонкость и чистота черт лица. И он сидел и вслух, но так, точно в ваго-

не кроме него никого не было, читал. Он бегло, дружелюбно, спокойно взглянул на меня и продолжал читать:

— Seigneur, ayez pitie de nous!

— Jesus-Christ, ayez pitie de nous![36]

Он читал то, что было напечатано на обороте картонки, которую вместе с бумажным цветком раздавали монахини: *Litanies de Notre-Dame de la Garde*. [37] Поезд гремел, но он читал ясно и с такой превосходной простотой произношения, что слышно было каждое слово. И так же, как это произношение, был прост и звук, выражение его голоса. Только всё время голос его креп и всё более приобретал убедительность, уверенность, что его слышат Те, к Кому обращался он.

— *Pere celeste qui etes Dieu, escoutez nous*, — говорил он Богу почти так, как если бы он говорил: *Monsieur le ministre, escoutez moi*, [38] но именно почти так, то есть не совсем так. Он не умолял, он только почтительно просил, но всё-таки с оттенком молитвы, обращения к Отцу Небесному:

— *Espri Saint qui etes Dieu, ayez pitie de nous!*

— Sainte Marie, Immaculee dans votre Conception, priez pour nous![39]

Женщина отвернулась к жаркому окну, за которым шли сады и виллы Булюриса, — на глаза её навернулись слёзы. У меня по голове прошёл легкий холодок... Да, да, ну пусть их нет, — Jesus-Christ, Pere celeste, Sainte Marie... Ведь всё равно были, есть и вовеки будут чувства, коими эти литании созданы. Есть неистребимая и сладостная потребность покорности и даже унижения перед тем высшим, что мы имеем в себе самих, совокупностью чего наделяем мы смертного или Божество и чему мы поклоняемся, возвышая самих себя, поклоняясь, всему тому высшему, что есть в нас. Есть в нас некий Дух, неизменно и отлично от плоти чувствуемый нами — Sant Esprit qui est Dieu, нечто такое, что для нас непостижимо, что нам, смертным, кажется бессмертным, вечным. И есть, несомненно есть, в нашем порочном, человеческом непорочность как бы нечеловеческая, неизменно нас трогающая, восхищающая, — так как же может не восхищать Образ этой непорочности чистейший и совершеннейший, пусть даже опять-

таки самими нами, в силу нашей горячей потребности, созданный? А старичок, замедляя голос, невольно возвышал его и говорил всё проникновеннее:

— Sainte Marie, saluee par l'archange Gabriel, priez po-ur nous!

— Sainte Maria glorifiee dans vorte Assomption, priez pour nous![40]

И торжественно и светло звучали слова: saluee, glori-fiee. Разве слова все одинаковы? Разве не живут они таинственнейшей и разнообразнейшей музыкой, жизнью?

Когда-то мне было странно французское обращение к Богу, к Божьей Матери, к Спасителю на вы, потому что ещё чужда была Франция и мёртв был язык католической церкви. Потом я не привык к этому обращению, но почувствовал в нём, в его галльском рыцарстве, какое-то особое очарование.

Старичок читал:

— Notre-Dame de Grace, priez pour nouse!

— Notre-Dame de la Garde, Reine et Patronne de Marseille, priez pour nous![41]

Reine et Patronne, Царица и Покровительница... Разве не великое счастье обладать

чувством, что есть всё-таки Кто-то, благостно и бескорыстно царствующий над этим Марселем, над его грешной и корыстной суетой и могущий стать на его защиту в беде, в опасности? И Кто эта Reine?

— Мать господ нашего Иисуса, за грехи мира на кресте распятого, высшую скорбь земную приявшая, высшей славы земной и небесной удостоенная!

Я тоже взял у монахинь цветок и картинку. Теперь я вынул эту картинку и стал рассматривать: она была прелестна в своей наивности и традиционности, эта столь обычная, ремесленная статуя Богоматери, с Её юным, благостным и спокойным Ликом, с маленькой короной на голове и большеглазым Младенцем, доверчиво простирающим к миру свои детские ручки с Её рук, с Её лона. И я вспомнил далёкое счастливое время, когда я впервые видел эту статую в действительности: было весеннее утро, и высоко в бледно-голубом небе стояла Она, Rein de Marseille, недоступная земным горестям и волнениям, но неизменно к ним участливая, — реяла на высокой колокольне песочного цвета, издале-

ка видной с путей морских, вознесенной на желтый каменистый пик над всей гаванью, над всем городом со всеми его предместьями и над всеми его нагими, пустынными окрестностями, говорящими уже о близости Испании. Я смотрел на картинку и мысленно повторял за старичком:

— Вы, Кто первая встречаете благословением прибывающих и последняя провожаете им отходящих...

— Неисчерпаемое сокровище наше...

— Никогда не оставляющая наши мольбы напрасными...

— Нами именуемая нашей Доброй Матерью...

— Покровительница рыбаков и корабельщиков...

— Верный путеводитель проповедующих Слово Божие язычникам...

— Охраняющая в битвах наших воинов...

— В чье святилище входим мы с такой радостью...

— Благодатная Звезда морей...

— Маяк Блистающий, указующий нам среди бурь гавань спокойную...

— Вы, на руках своих несущая Повелителя ветров и бурных волн...

— Это хорошо, не правда ли? — прерывая чтение, обратился ко мне старичок так, точно мы были всю жизнь знакомы.

— Очень хорошо, — ответил я от всей души.

Он это почувствовал и спросил, как добрый учитель понятливого школьника:

— А почему?

И тотчас же ответил сам:

— Потому, что здесь выражается всё самое прекрасное, что есть в человеческой душе.

— Да, — сказал я. — И нет казни достойной для того, кто посягает хотя бы вот на такие картинки.

Он поглядел на меня, подумал.

— Вы англичанин? — спросил он.

— Нет, русский.

Он легонько улыбнулся.

— Да, конечно, не англичанин. Я так и думал. Англичане никогда не сидят, например, в вагоне просто, ничего не делая: или пристально смотрят в окно, точно изучая что-то, или читают... Ну, да, вы русский. И я знаю,

сколько страданий и гонений терпит теперь Россия...

И, опять подумав, помедлив немного, стал дочитывать:

— Утешительница скорбных душ и прибежище бедных рыбаков...

— Посредница милосердная между небом и нами...

— Надежда наша в жизни и сопутница в час смертный...

— Бдящая над колыбелью нашей и благословляющая нашу могилу...

— Царица земли и небес, молитесь за нас!

И он перекрестился, вздохнул и просто и убежденно сказал, пряча картинку за пазуху:

— C'est tres bon, ca![42]

— Ah oui,[43] — прошептала полная женщина с застенчивой улыбкой сквозь сиявшие на глазах слёзы, — notre berceau et notre tombe...[44]

За окном слепило солнце и море. Был туннель, грохот, тьма и вонь каменного угля, потом блеск, лазурь, свежесть морского воздуха, красно-лиловые скалы и синие, синие заливы... Вдруг раздался треск и сверкнули брыз-

ги стекла, — вдребезги рассыпалась бутылка, вылетевшая из окна и ловко угодившая в телеграфный столб...

Это забавлялась молодежь.

*Приморские Альпы, 1925*

# Илюшка

Едем с Илюшкой в город.

Жаркий ветер рабочей поры, бьющий с сушию и зноем в лицо. Узкий просёлок в зреющих хлебах — ничего вокруг, кроме их желтого моря да томного, серо-синего неба...

И всё в томном полусне, в дремотном волнении, всё мотается, клонится, бежит: и колеса бегут, и лошадь бежит, и хлеба вместе с цветами льются, стелются... Один кобчик повис в воздухе, точно в мёртвую точку попал: зорко смотрит вниз и мелко-мелко, быстро-быстро дрожит на одном месте острыми крылышками...

Едем на бегунках. Я впереди, правлю, Илюшка сзади. Оба сидим верхом, только у меня ноги поставлены на переднюю ось, а у него откинуты на заднюю. Он упёрся руками в сидение и говорит и хохочет мне прямо в затылок.

Он, как всегда, в отличном расположении духа. С утра до обедов был на косьбе, косил бодрей всех и ничуть не устал. «Вы думаете, я в солдатах разучился — нет, ещё ловчей

стал!» Только косил без картуза, не обращая никакого внимания на солнце, и потому, когда вернулись к обедам в усадьбу, у него пошла носом кровь, и он долго унимал её, умываясь возле водовозки. Рядом с ним стоял Мотька, малый глупый, простодушный. Мотька поливал ему из корца, потом сказал:

— Ну, теперь полей мне, я тоже маленько умоюсь.

Илюшка весело выпучил на него мокрые глаза, захохотал и ответил:

— Дурак, ай я тебе прачка?

Теперь он опять то и дело смеётся, от нечего делать болтая, наслаждаясь ездой, полем, бегущим волнением хлебов, жарким ветром, мягко бьющим в лицо и порой овевающим так знойно, точно где-то пылает безмерный костёр. Он с восхищением рассказывает, как он в Киеве, где отбывал воинскую повинность, ходил в публичный дом:

— Вот там девки! — говорит он. — Это не нашим чета! Разве наша умеет так-то обойтись! А хозяйка толстая, с усами... И всю ночь пляс, танцы, пиво...

Потом — и все с той же легкостью — рас-

сказывает то, что я уже знаю: как он застрелил одного из арестантов, которых им, солдатам, пришлось однажды вести с вокзала в пересыльную тюрьму: арестант этот хотел убежать.

— Тебе не грех? — спрашиваю я.

— Какой же мне грех? Если бы он убежал, мне за него пришлось бы целый год просидеть.

— Да лучше уж год просидеть.

— Ну, нет, я их лучше двадцать положу!

— А как же в заповедях сказано, что нельзя убивать?

— А как же в присяге читают, что обязательно надо? Потом он меня спрашивает, за что вешают «политиков» и сколько получает «с головы» палач.

— Правда, что этому палачу сто целковых с головы дают?

И без малейшего хвастовства, совершенно простосердечно сознается, что за сто целковых мог бы и сам кого угодно удавить.

— Да чего ж? Ну, другие там покойников боятся, а я этого никогда не знал: как это он может с того света прийти? Я только со своей

деревни не стал бы давить. Своего, понятно, жалко...

Бежит, волнуется горячий воздух, бегут колеса, лошадь, льются желтыми волнами овсы и ржи, дрожит в небе кобчик...

*1930*

# Сокол[45]

**И**ван — охотник, лодырь. Живёт с краю деревни возле погоста. Погост на косогоре, скучный: голые глинистые бугорки, взрытые свиньями, истоптанные овцами которые до земли выглодали сухую траву между ними; над одной могилой тощая лозинка, на лозинке вниз головой висит дохлая галка, насквозь источенная муравьями; в одном голубце, рядом с фольговой иконой, свила гнездо мухоловка... К погосту и прилегает гумно Ивана, нищее, пустое: раскрытый хребет риги, старый тележный ящик, рогатая соломорезка — и всё заросло травой, бурьяном.

Когда мы шли к его избе с деревни, от нас стремглав, припадая к земле шеей, неслась его единственная наседка и с отчаянно-восклицательным криком взвилась в её разбитое окошко.

На разрушенном крыльце, как-то по-вдоль свернувшись, лежала чернобровая собака с висячими ушами, грустно глядя на нас вкось, исподлобья.

— Иван, — спросили мы, — чем же ты её

кормишь? Иван слегка удивился:

— Как чем? Да ничем. Это её дело.

Перед крыльцом, на двух лопнувших колесах, рассыхалась на солнце пустая водовозка и бесцельно (видно, не зная, что делать) сидел на её обресе сизый, с серой грудкой голубь. Иван посмотрел, усмехнулся:

— Ишь в какую визиточку нарядился!

А в избе пол был завален чем попало — всякой добычей памятного лета семнадцатого года: корыта кадушки, треногое ободранное кресло, прихотливо изогнутая рама из палисандра, где от зеркала осталась только половинка, полотнище пыльной гардины, цинковая детская найма с продавленным боком, граммофонный рупор, стенные часы с одной гирей в золе возле печки, пыльная господская визитка, как раз похожая на ту, в которую голубь «нарядился», — всё из какого-нибудь разграбленного господского имения. В избе, и без того тесной, негде было повернуться, было безобразно. И истуканом, молча сидела на лавке баба, каменная, большая, с страшными светлыми глазами — жена Ивана. Сидела, молчала и смотрела.

— Это всё она натащила, — сказал Иван самодовольно. — Она у меня сокол!

*1930*

# Русь

Старуха приехала в Москву издалека. Свой северный край называет Русью. Большая, бокастая, ходит в валенках, в тёплой стёганой безрукавке. Лицо крупное, желтоглазое, в космах толстых седых волос, — лицо восемнадцатого века.

Спросил её как-то:

— А сколько вам лет будет?

— Семьдесят семь, господин милый.

— А вы, дай Бог не сглазить, ещё совсем хоть куда.

— А что ж мне? Это года не велики. Наш родитель до ста лет дожил.

Чаю она не пьёт, сахару не ест. Пьёт горячую воду с чёрным хлебом, с селедкой или солеными огурцами.

— Вы никогда, небось, и не хворали?

— Нет, трясовица была на мне, порча на мне была. Мужа страшилась: как он ко мне с любовным чувством, меня и начинало трясти, корёжить. Сжечь бы её, ту, что напустила на меня это!

Слово «сжечь» одно из её любимых. Про

большевиком говорит очень строго:

— Не смеют они так про Бога говорить. Бог наш, а не их. Сжечь бы их всех!

Её рассказы о родине величавы. Леса там темны, дремучи. Снега выше вековых сосен. Бабы, мужики едут в лубяных санках, на зубастых лохматых коньках, все в лазоревых, крашеного холста тулупах со стоячими аршинными воротами из жестокого псинного меху и в таких же шапках. Морозы грудь насквозь прожигают. Солнце на закате играет как в сказке: то блещет лиловым, то кумачовым, а то всё кругом рядит в золото или зелень. Звёзды ночью — в лебяжье яйцо.

1930

# Автобиографические заметки

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми.

-

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание немедленно сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражён тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под водопадом с

длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочёл подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда ещё, к счастью, неизвестном мне: *«Встреча в горах с кретином»*. Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпке вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день всё-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак был для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих неко-

торые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь странны, и особенно тогда, когда та или иная мера кретинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью и одержимостью, с какими-нибудь историческими силами, — ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких кретингов, имена которых навеки останутся во всемирной истории, — тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

-

Я родился в Воронеже, прожил в нём целых три года, а кроме того, провёл однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провёл я в нём, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в тёмные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским,

немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезён на вокзал к московскому поезду совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в своё орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там прошло моё детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение», — под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигоев-Атава. После него называли последним из тех, которые воспевали погибающие дворянские гнёзда, меня, а затем воспел погибающую красоту «вишнёвых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о их садах, но ещё и теперь чуть не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоми-

нать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который всё долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский всё время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, — уже не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишнёвым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов сплошь вишневых: в помещичьих садах бывали только части садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, как раз возле господского дома, и ничего чудесного не было и нет в вишнёвых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе непохожими на то, что так крупно, роскошно цветёт как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре);

совсем невероятно к тому же, что Лопехин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопехину, очевидно лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговоров с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Жёлтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, моё детство, чистота моя! (смеется от радо-

сти). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, — точно совсем из Дяди Вани, — истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишнёвый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнёшься, мама». А рядом со всем этим — студент Трофимов, в некотором виде «Буревестник»: «Вперёд! — восклицает он. — Мы идём неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали! Вперёд! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

-

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, — он ещё жив, и мне не хочется называть его, — рассказывал в своих стихах, что он шёл, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе ни-

как не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелётах, — со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелёными листьями, никогда не цветёт; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилёв изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях —

*Дома косые двухэтажные  
И тут же рига, скотный двор, —*

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому старозаветному Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за

постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов[46] описал какого-то охотника, который идёт в лесу «по дёрну» и несёт «в ягташе» золотую «лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нёс в кармане собаку.

Кстати: почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» — как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре — как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актёр в каждом театре быть художником и разве мало было и в России, и во всех прочих странах актеров-художников?

Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным Театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, — ведь даже и доныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли

это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову: «Это — твой театр, Антон». Как Кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году — «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова её: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нём по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подбостранно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно не только своё, но и всей советской интеллигенции мнение, написал мне в 1936 году: „Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей стра-

ны, и надо, чтобы многие побывали в нём. По-читатель Чехова, В. Молотов“. Какие мудрые и благосклонные слова!»

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, — в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего типографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придавала этому ровно никакого значения, как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший её писарской сердцещипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: «У Есенина талант пошлости и кощунства», в своё время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирая гармонь:

*Ненавижу дыхание Китежа!  
Обещаю вам Инонию!  
Богу выщиплю бороду!  
Молюсь ему материщиною!  
Я не чета каким-то болванам,  
Пускай бываю иногда я пьяным,  
Зато в глазах моих прозрений див-  
ных свет —  
Я вижу всё и ясно понимаю,  
Что эра новая не фунт изюму  
вам,  
Что имя Ленина шумит, как ве-  
тер, по краю!*

За что русская эмиграция всё ему прости-  
ла? За то, видите ли, что он разудалая русская  
головушка, за то, что он притворно рыдал,  
оплакивал свою горькую судьбинушку, хотя  
последнее уж куда не ново, ибо какой «маль-  
чонка», отправляемый из одесского порта на  
Сахалин, тоже не оплакивал себя с величай-  
шим самовосхищением?

*Я мать свою зарезал,  
Отца сваво убил,  
А младшую сестрёнку  
Невинности лишил...*

Простила и за то, что он — «самородок», хо-

тя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо[47] когда-то писал:

*Осточертели эти самые самородки  
От сохи, от земли, от земледелия,  
Довольно этой косоворотки и водки  
И стихов с похмелий!*

*В сущности, не так уж много  
Требуется, чтобы стать поэтами:  
Запустить в Господа Бога  
Тяжёлыми предметами.*

*Расшвырять, сообразно со вкусами,  
Письменные принадлежности,  
Тряхнуть кудрями русыми  
И зарыдать от нежности...*

-

Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г. В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Пе-

тербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шёлковая рубашка с пояском, жёлтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: „Где уж нам, деревенщине!“ А за этим маскарадом — неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолубие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нём так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гипшиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: „Что это на вас гетры такие?“ Всё это заставило Есенина перебраться в Москву и там он быстро стал популярен, прижкнув к „имажинистам“. Потом начались его скандалы, дебоши, „Господи отелись“, приступы мании величия, Айседора Дункан, турне с ней по Европе и Америке, неистовые избиения её, возвращения в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство — и самоубийство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, — о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счёт своего приятеля Мариенго-

фа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды такая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты барахты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри — Белый: и волос уже седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А ещё очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас сходил? Вскочил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в лорнеты, — „ах, как замечательно, ах, как гениально!“ — А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с чёрного хода пришёл, — не надо ли, мол, чего покрасить, — давай кухарке стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а ба-

рин зовёт поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: где уж нам в горницу, креслица барину перепачкаю, пол вощёный наслежу... Барин предлагает садиться — Клюев опять ломается, мнётся: да нет, мы постоим...»

Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом Русском Слове» в Нью-Йорке. Березов писал о Есенине с умилением:

— Помнишь, Сережа, спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой наезжал, — помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печёную картошку?

И Есенин отвечал:

— Всё помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкрикивая концы строк и, конечно, неспроста напоминая, что

он скандалист, хулиган, «разудалая Русь»:

*Заметался пожар голубой,  
Позабылись родимые дали,  
Первый раз я запел про любовь,  
Первый раз отрекаюсь сканда-  
лить...*

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который своё хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, своим вечным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

*Синий май. Заревая теплынь.  
Не прозвякнет кольцо у калитки.  
Липким запахом веет полынь,  
Спит черёмуха в белой накидке...*

Дело происходит в мае, в саду, — откуда же взялась полынь, запах которой, как известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «веять»?

*Дальше, несмотря на спящую че-  
рёмуху, —  
Сад польщит, как пенный пожар,  
И луна, напрягая все силы,  
Хочет так, чтобы каждый дро-  
жал*

*От щемящего слова «милый»...*

Желание луны понятно, — недаром Бальмонт утверждал, что даже «каждая ящерица ищет щемящих ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыни полыхающий пенным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается всё это так:

*Только я в эту тишь, в эту гладь,  
Под тальянку весёлого мая,  
Не могу ничего пожелать,  
Всё, как есть, без конца принимаю...*

Тут май оказался уже весёлым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются...

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встречались с ним в редакции журнала „Красная Новь“. Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картинка: Есенин в чёрном котелке и модном демисезонном пальто „раглан“, в лаковых полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поём...» Рисовал Березов и другие «картинки» — как жил и как «творил» Есенин (игравший и дру-

гие роли, уже не хулиганские):

«Жил Есенин в Брюссовском переулке в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Приятные, светлые обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, тёмная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетки с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам стройные берёзки. Вот он идёт в коридор, поднявшись, слышим его шёпот: „Груша, сходите за цветами, купите самых красивых“. Я знал, что когда к сердцу

Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по-праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Всё его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Галя Бениславская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озёрам и рощам за раба Божия Сергия и за его вдохновенное творчество...»

Я читал всё это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто «крыл» её, не говорил подлых слов «о мучительной тоске» за океаном, о слезах при виде берёзок...

-

О Есенине была в своё время ещё статья Владислава Ходасевича в «Современных Записках». Ходасевич в этой статье говорил, что у Есенина, в числе прочих способов оболыщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице, посмотреть расстрелы в Чека, — я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть, Чека покровительствовали той банде, которой Есенин был окружен, говорил

Ходасевич; она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу...»

-

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описывания действительности... Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были новы — и по духу и по форме — как раз в то время выступавшие Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к

несчастьем, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, — его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал ещё не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, — видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авторов «Кузьмы Пруткова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточённая война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяческий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературе, в одном стане её, Горький, ловко подхвативший их надежды на босяка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль», — в этом рас-

сказе какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и светлое будущее», — такие борцы ведь всегда пламенные, — вырвал из своей груди своё пылающее сердце, дабы бежать куда-то вперёд, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакции. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, ещё недавно призывавший грозу революции:

*Пусть же гром ударит и в моё жилище,  
Пусть я даже буду первый грома пищей! —*

Минский, всё-таки не ставший пищей грома, теперь перестраивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались ещё пролетариатом: это уже гораздо позднее многие из

них запели подобно Минскому:

*Пролетарии всех стран соединяйтесь!  
Наша сила, наша воля, наша  
власть —*

подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом славянофилом, патриотом во время первой мировой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

*Горе, горе! Умер Ленин!  
Вот лежит он хладен, тленен!*

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне лая в нос, ужасную чепуху:

*О, плачьте,  
О, плачьте  
До радостных слёз!  
Высоко на мачте  
Мелькает матрос!*

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется ещё и луною:

*Всходит месяц обнаженный*

## *При лазоревой луне!*

Впоследствии он стал писать гораздо разумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

*Альков задвинутый,  
Дрожанье тьмы,  
Ты запрокинута,  
И двое мы...*

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Кузьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помешанного на придумывании необыкновенных рифм:

*В годы Кука, давно славные,  
Бригам ребра ты дробил,  
Чтоб тебя узнать, их главный —  
и  
Неповторный опыт был...*

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

*Лютики, ландыши, ласки любов-  
ные...*

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

*Берег, буря, в берег бьется  
Чуждый чарам чёрный чёлн...*

Гиппиус всё время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все ещё молчали, медленно сказала:

— Первое стихотворение очень пошло, второе — непонятно.

Бальмонт налился кровью:

— Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

— Я не понимаю, что это за чёлн и почему и каким таким чарам он чужд, — отдельно

ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

— Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучают мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдержать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

— Но я ужасно рада, что вы не можете, — ответила Гиппиус. — Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецей, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого — дикого буянства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюблённости, был упоён собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно на-

печата́л свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке: ничуть не смущённый этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

— Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка.

— Художественный театр готовится ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, заехать к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых, когда, наконец, дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я всё-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посреди — всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, назы-

ваю себя, в полной уверенности, что моё имя неизвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлёбываться от рычания. «Будьте же добры, — говорю я тогда достаточно резко, — сообразовались ли вы с постановкой вашего произведения?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свиданья». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона...

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды:

— Когда наш корабль, — Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», — бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, — тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, — я увидел род вигвама, заглянул в него и увидел в нём старуху, но всё же прельстительную сво-

ей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю», эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством...

«Я, владеющий многими языками мира...» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книге какого-то Мясникова («Поэзия Брюсова»), изданной в 1945 г. в Москве: «Брюсов свободно владел французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-английски, по-итальянски, по-немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имел представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древнееврейском, древнеегипетском, арабском, древнеперсидском и японском...» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европей-

ские языки и около дюжины восточных...». Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Брадлеем, и когда Брайлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешёл на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки... Как же всё-таки сделал он столько переводов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, — очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, — только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других

случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его — и не раз — лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шёл он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на них на парижском жаргоне воров и апащей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, ещё более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком посёлке на берегу моря, пошли как-то втроём — он, писатель Федоров[48] и я — купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинул-

ся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» — а «дикарь» лениво смеялся его тусклым взглядом, сгрёб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...

Удивительный он был вообще человек, — человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И ещё: при всём этом был он довольно расчётливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостив ко мне, — сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

— Бунин, у вас есть чувство корабля!

А ещё позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не за-

был, — начал сонет так:

*Я тигр, ты — лев!*

Расчётлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энциклопедия», и вот что сказано о нём в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт — один из вождей русского символизма... По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений „Песни мстителя“ превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение „Предвозвещенное“, восторженно приветствуя Октябрьскую революцию.

Выехав по командировке Советского пра-

вительства за границу, перешёл в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, „пожелал стать певцом страстей и преступления“, как сказал о нём Брюсов. В сонете „Уроды“ прославил „кривые кактусы, побегии белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом“, восторженно приветствовал, как „брата“, Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму, убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью этого года в большевицкой газете «Новая жизнь», — например, такие строки:

*Кто не верит в победу сознательных,  
смелых рабочих,  
Тот бесчестен, тот шулер, ведёт  
он двойную игру!*

Это так глупо и грубо в смысле подхалим-

ства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведёт он двойную игру»? Но это ещё цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под заглавием «Русскому офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

*Грубый солдат! Ты ещё не постиг,  
Кому же ты служишь лакеем?  
Ты сопричеслился, — о, не на  
миг! —  
К подлым, к бесчестным, к злоде-  
ям!  
Я тебя видел в расцвете души,  
Встречал тебя вольно красивым.  
Низкий. Как пал ты! В трясине! в  
глуши  
Труп ты — во гробе червивом!  
Кровью ты залил свой жалкий  
мундир,  
Душою ты в пропасти тёмной.  
Проклят ты. Проклят тобою  
весь мир.  
Нечисть! Убийца наёмный!*

Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:

Наш царь — убожество слепое,  
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,  
Царь — висельник...  
Он трус, он чувствует с запинкой,  
Но будет, час расплаты ждет!  
Ты был ничтожный человек,  
Теперь ты грязный зверь!  
Царь губошлёмствует...  
О мерзость мерзостей! Распад,  
зловонье гноя,  
Нарыв уже набух, и пухлый, ждёт  
ножа.  
Тесней, товарищи, сплотимтесь  
все для боя,  
Ухватим этого колючего ежа!  
Царь наш весь мерзостный, с ли-  
сьим хвостом,  
С пастью, приличною волку,  
К миру людей привыкает — при-  
том  
Грабит весь мир втихомолку,  
Грабит, кощунствует, ежится,  
лжёт,  
Жалко скулит, как щенята!  
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью,  
кровью пьяный,

## *Ты должен быть убит!*

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший ещё до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул. Горький бежал сперва в Америку, потом в Италию...

Мечтая о революции, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

*Петухи поют на Святой Руси —  
Скоро будет день на Святой Руси!*

Андреев, изголодавшийся во всяческом пафосе, писал о ней Вересаеву:

«Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революция и социалы, либо квашеная конституционная капуста.

Если революция, то это будет нечто умопомрачительно радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но новая земля!»

«И вот приходит ещё один вестник к Иову и говорит ему: сыновья твои и дочери твои ели и пили вино в доме первородного брата твоего: и вот большой ветер пришёл из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли...»

«Нечто умопомрачительно радостное» наконец настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так:

«Русская революция проделана была зоологически».

Это было сказано ещё в 1922 году и сказано не совсем справедливо: в мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства, — зверства ради зверства, — какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций; гад действует всегда разумно, с практической целью: жрёт другого зверя, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в

смертоубийстве, не упивается им, «как таковым», не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, — особенно тогда, когда он знает свою безнаказанность, когда порой (как, например, во время революций) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орденами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного Знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных выродков, психопатов, садистов, — как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствования Ленина, Троцкого, Дзержинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В конце девяностых годов ещё не пришел, но уже чувствовался «большой ветер из пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды её и были удивительно не схожи ни в чём с прежними, ещё столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние ещё властвовали, но число их приверженцев всё уменьшалось, а слава новых всё росла. Аким Волынский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одарённые, наделённые редкой энергией, большими силами и большими способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близится «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жадой успехов, скандалов...

Толстой немного позднее определил всё это так: «Удивительная дерзость и глупость нынешних новых писателей!»

Это время было временем уже резкого упадка в литературе нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры... Розанов в то время очень кстати (с гордостью) заявил однажды: «Литература — мои штаны, что хочу, то в них и делаю...» Впоследствии Блок писал в своём дневнике:

— Литературная среда смердит...

— Брюсову все ещё не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости...

— Мережковские — хлыстовство...

— Статья Вячеслава Иванова душная и тяжёлая...

— Все ближайшие люди на границе безумия, больны, расшатаны... Устал... Болен... Вечером напился... Ремизов, Гершензон — все больны... У модернистов только завитки вокруг пустоты...

— Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси...

— Талант пошлости и кощунства у Есенина.

— Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, всё не из жизни...

— У Алексея Толстого всё испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница...

— Вернисажи, «Бродячие собаки»...

Позднее писал Блок о революции, — например, в мае 1917 года:

— Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по-революционному... Не мог сразу сделаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революция предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в июле того же года писал о том же:

— Германские деньги и агитация огромны... Ночь, на улице галдёж, хохот...

Через некоторое время, он, как известно, впал в некий род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции рань-

ше. И я привёл его суждение о ней не с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та «революция», которая началась в девяностых годах в русской литературе, тоже была некоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революции тоже было с самого её начала то хулиганство, то отсутствие меры, те трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексею Толстому, были впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в своё время и сам Блок грешен насчёт этих «завитков», да ещё и каких! Андрей Белый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «Тайным Рыцарем Жены, Облечённой в Солнце». А сам Блок ещё раньше Белого, в 1904 году, поднёс Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

*Законодателю русского стиха,  
Кормщику в тёмном плаще,  
Путеводной Зелёной Звезде, —*

меж тем, как этот «Кормщик», «Зелёная Звезда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облечённой в Солнце», был сыном мелкого мос-

ковского купца, торговавшего пробками, жил на Цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с воротами всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цепи во дворе. Познакомясь с Брюсовым, когда он был ещё студентом, я увидел молодого человека, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостинно-дворческой и скуласто-азиатской физиономией. Говорил этот гостиннодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и всё время предложениями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Всё было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой всё старое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжёг Александрийскую библиотеку», — воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на ко-

страх. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительна.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звезда...» Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»... Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

— Это для косых!

В моих воспоминаниях о Чехове сказано кое-что о том как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву... Вот ещё одно свидетельство в том же роде.

Года три тому назад, — в 1947 году, — в Москве издана книга под заглавием «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». В этой книге напечатаны между прочим воспоминания А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институте и летом 1902 года производил разведки на каменный уголь в уральском имении Саввы Морозова, и

вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горького и со своей стороны не поспешил на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометий и восклицательных знаков.

— Извините... Я не понимаю... — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. — Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о соколе»... Но ведь это не литература, а только набор громких слов...

От изумления я обжёгся глотком чая.

— Море смеялось, — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне. — Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это — дешёвка, лубок, вот вы прочитали «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это

так — море — и вдруг смеётся? Море не смеётся, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смеётся...

Длинными пальцами он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал их от себя.

— Вот вы сослались на «Фому Гордеева», — продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. — И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыгаться на Художественном Театре.

— Ничего, театр, как театр, — опять погасил мои восторги Чехов. — По крайней мере актёры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры ещё очень некультурны...

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

— Никаких декадентов нет и не было, —

безжалостно доконал меня Чехов. — Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же как у всех — волосатые...

Я упомянул об Андрееве: Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

— Ну, какой же Леонид Андреев — писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, из тех, которые ужасно любят красиво говорить...

Мне Чехов говорил о декадентах несколько иначе, чем Тихонову, — не только как о жуликах:

— Какие они декаденты! — говорил он, — они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать...

Правда — почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времён Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, — у Горького, Ан-

дреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, — были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что необходимо для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было ещё при Чехове и как всё росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем недаром писавшая от мужского имени Гипсиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, — «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный мистический анархист Чулков, исступленный Волынский,

малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими чёрными глазами Минский; у Горького была болезненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сию книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, — нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то: Иегудиил, Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков... Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости просто поразительных по количеству актёрских поз и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напряженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора; он был совершенно неистоцимый говорун с несметными по количеству и разнообразию гримасами, то опять-таки страшно мрачными, то идиотски радостными, с закатыванием под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях

без актёрства, без фразёрства, то нарочито без всякой меры грубого, то романтически восторженного, без нелепой неумеренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете!»). И всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаниях: «Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа; улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут тёмные куски пицци, живые люди, вагоны городской железной дороги огромные черви; локомотивы — жирные утки...». Он был чудовищный графоман; в огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горького в Москве под заглавием: «Литературная работа Горького», сказано: «Мы ещё не имеем точного представления о полном объёме всей писательской деятельности Горького: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических

произведений его...» А недавно я прочёл в московском «Огоньке» следующее: «Величайший в мире пролетарский писатель Горький намеревался подарить нам ещё много, много замечательных творений; и нет сомнения, что он сделал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около восьми тысяч ценнейших рукописей и материалов Горького бережно хранятся в архиве писателя при Институте мировой литературы Академии наук СССР...» Таков был Горький. А сколько было ещё ненормальных! Цветаева с её непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в Советскую Россию; буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего, про несчастного Блока — тоже: дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно

лечилась в больнице для душевнобольных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин, затем «тяжелая психостения, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов...» Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость — редкая: «гимназия отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актёры, и первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр, алых зорь, золотистых долин, цветистых лугов»; затем он продолжатель В. Соловьева, друг и соратник Белого, «возглавлявшего мистический кружок аргонавтов»; в 1905 году «идет к толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революции...» В первую великую войну он устраивается на фронте чем-то вроде земгусара, приезжая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войне «весело», то совсем другое — как там скучно, гадко, иногда уверяет её, что

«всех жидов надо повесить»...

(Последние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из её петербургских дневников, а всё прочее относительно Блока — из биографических и автобиографических сведений о нем.)

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского журнал «Русский Современник», преследовавший, как сказано было в его программе, «только культурные цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно: «Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлечённые из его посмертных рукописей».

И впрямь — среди этих «замыслов» есть кое-что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом от-

ношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял не более, не менее, как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что было в проспекте этой «пьесы».

— Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

— Выходит Иисус: не мужчина и не женщина.

— Фома (неверный!) — контролирует.

— Пришлось уверовать: заставили и надудли.

— Вложил персты и распространителем стал.

— А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов — и Учредилку...

Поверят ли читатели «великого поэта» в эти чудовищные низости? А меж тем я выписываю буквально. Но дальше:

— Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.

— Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

— Мать говорит сыну: неприлично. Брак в

Кане Галилейской.

— Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

— Нагорная проповедь: митинг.

— Власти беспокоятся. Иисуса арестовали.

Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

— Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой буквы...

-

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов — и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка, — про апостола Петра, — «дурак Симон с отвисшей губой»), есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времён, началось ещё с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургию Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «Отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бро-

дядей Собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действие», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, — «действие», в котором поэт Потемкин изображал осла, шёл, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нёс на своей спине супругу Судейкина в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело немало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда ещё молодой, крупный, мордастый, являлся туда важным баринном, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а la мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяковский в желтой кофте с глазами сплошь тёмными, нагло и мрачно вызывающими со сжатыми, извилистыми, жабыми губами... Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, — уже при большевиках — будто бы так: с Евангелием в одной руке и с «Декамероном» Боккачио в другой.

При большевиках всяческое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне писали из Москвы ещё тридцать лет тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающиеся рожи, „народ-богоносец“ Достоевского любителю на картинке в журнальчике „Безбожник“: там изображено, как глупые бабы „причащаются“, — едят кишки Христа, — изображён Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бедного...»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуёв советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был ещё Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабея и нашла, что «его творчество не равноценно: Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы — например, в рассказе „Сашка-Христос“. Есть, кроме того, вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного

быта, как, например, в рассказе „Иисусов грех“... К сожалению, — говорила дальше газета, — хотя я не совсем понимал, о чём тут сожалеть? — «к сожалению, особо характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица — Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала...» Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо «революционный» отпечаток в этой гнусности, конечно, был. Я, со своей стороны, вспоминал тогда ещё один рассказ Бабеля, с юмором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нём: тут гнусность, с которой было сказано о грудях её, заслуживала уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается ещё

некий Хлебников.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переменял его на какого-то Велимира, я иногда встречал ещё до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футуристом, кроме того, и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но всё же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нём. Вот что было в этом письме:

— Когда Хлебников умер, о нём в Москве писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвящённом памяти Хлебникова, его друг П. читал о нём свои воспоминания. Он говорил, что давно

считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот, однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. — «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придёт, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных снегах, между Лубянской и Никольской. А затем слышу стук в дверь, отворяю и вижу: Хлебников!» — На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное — «мистическое число 317».

Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был, однако, удачлив — его приютил у

себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошелиться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получилось письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова и тотчас повёл его за город в степь, а в степи стал говорить, что ему удалось снестись со всеми 317-ю Председателями, что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрёл в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашёл Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: — «Него-

дядй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен был умереть! Я ведь уже снесся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» — С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашёл себе нового мецената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти, и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня».

Очень лубочная игра в помешанного. А затем помешанный разразился, в угоду большевикам, виршами вполне разумными и выгодными:

*Нет житья от господ!  
Одолели, одолели!  
Нас заели*

Знатных старух,  
Стариков со звездой  
Нагишом бы погнать,  
Все господское стадо,  
Что украинский скот,  
Толстых, седых,  
Молодых и худых,  
Нагишом бы все снять  
И сановное стадо  
И сановную знать  
Голяком бы погнать,  
Чтобы бич бы свистал,  
В звёздах гром громыхал  
Где пощада? Где пощада?!  
В одной паре с быком  
Стариков со звездой  
Повести голяком  
И погнать босиком,  
Пастухи чтобы шли  
Со взведённым курком.  
Одолели! Одолели!  
Околели! Околели!

И дальше — от лица прачки:

Я бы на живодерню  
На одной верёвке  
Всех господ привела  
Да потом по горлу

*Провела, провела,  
Я бельё моё всполосну, всполосну!  
А потом господ  
Полосну, полосну!  
Крови лужица!  
В глазах кружится!*

У Блока в «Двенадцати» тоже есть такое:

*Уж я времечко  
Проведу, проведу...  
Уж я темечко  
Почешу, почешу...  
Уж я ножичком  
Полосну, полосну!*

Очень похоже на Хлебникова? Но ведь все революции, все их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных — режь попов, режь господ! Так писал, например, ещё Рыле-ев:

*Первый нож — на бояр, на вель-  
мож  
Второй нож — на попов, на свя-  
тош!*

И вот что надо отметить: какой «высокий стиль» был в речах политиков, в революцион-ных призывах поэтов во время первой ре-

волюции, затем перед началом второй! Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком роде:

*Восстань! Карай врагов страны,  
Как острый серп срезает колос!  
Вперед! Туда, где шум и крик,  
Где плещут красные знамена!  
И когда горячей крови  
Ширь полей вспоит волна,  
Вскососись в зелёной нови,  
Возрождённая страна!*

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И ещё пример: революционные стихи Максимилиана Волошина:

*Народу русскому: я — грозный Ангел  
Мщенья!  
Я в раны чёрные, в распаханную  
новь  
Кидаю семена! Прошли века тер-  
пенья,  
И голос мой — набат! Хоругвь  
моя как кровь!*

Зато, когда революция осуществляется, «высокий стиль» сменяется самым низким, — взять хоть то, что я выписал из «Песней мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем по-хамски:

*Сорвали мы корону  
Со старого Кремля!  
За заборами низкорослыми  
Гребем мы огненными вёслами!*

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

*Взяли мы в шапке  
Нахально сели,  
Ногу на ногу задрав!  
Иисуса — на крест, а Варраву  
Под руки — и по Тверскому!*

-

Я был в Петербурге в последний раз, — в последний раз в жизни! — в начале апреля 17-го года,[49] в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главе с нашими тогдашними министрами Временного Правительства, знамени-

тыми думскими депутатами и говорились финнам истерически-подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось всё то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безообразием, в которое вылился банкет! Собрались на него всё те же, весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми преобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошёл к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов; Галлен глядел на него во всё глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы её, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил меня Маяковский.

Я ответил, что нет: «Слишком много чести

было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то ещё, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развёл руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его ещё более зычным рёвом. Но мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг всё покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кри-

чать одно из русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского ещё в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем. Маяковский и прочие тоже были довольно прожорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но недаром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего: он уже чуял, что полифемовское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уж навсегда заткнут рот всем прочим трибунам ещё великолепнее, чем сделал он один на пиру в честь Финляндии...

«Много!» Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить и то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-

ый год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как и не позавидовать нашему праотцу Ною! Всего один потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а всё-таки очень съедобных тварей. И вестник мира, благоденствия, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его, — не то что нынешние голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Арапате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишённом всей допотопной скверны, — не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя нехорошая история с сыном Хамом. Да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

Весной того же семнадцатого года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной рус-

ской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближённых к императору Александру Второму, затем бежал в Англию, где и прожил до русской Февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлён при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу, — знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революционера», знаменитый ещё и как географ, путешественник и исследователь Восточной Сибири и полярных областей, — оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре, в обращении. Живые, ясные глаза, добрый, доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь — и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почётом и всяческими заботами о нём, он, революционер, — хотя и весьма мирный, — возвратившийся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью Февральской рево-

люции, наконец-то «освободившей Россию от царизма», его поселили в чьём-то, уже не помню в чьём именно, барском особняке на одной из лучших улиц в дворянской части Москвы. В конце этого года шли собрания на этой квартире Кропоткина «для обсуждения вопроса о создании Лиги Федералистов». Конец этого года — что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем доме, в который уже превратилась тогда вся Россия.

Но что «Лига»! Дальше было вот что.

В марте 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно перебрался на какую-то другую квартиру — и стал добиваться свидания с Лениным: в пренаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шёл тогда в России, и наконец, добился свидания. Он почему-то оказался «в добрых отношениях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле это свидание. Совершенно непонятно: как мог

Кропоткин быть «в добрых отношениях» с этим редким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, всё-таки был. И мало того: пытался повернуть деяния Ленина «на путь гуманности». А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине и говорил о своём свидании с ним, разводя руками:

— Я понял, что убеждать этого человека в чём бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушение на него, допустил убить две с половиной тысячи людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления...

А затем, когда большевики согнали князя анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо переселяться из Москвы в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний: муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба... Старый, маленький, несчастный князь мечтал раздобыть себе ва-

ленки. Но так и не раздобыл, — только напрасно истратил несколько месяцев, — месяцев! — на получение ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение «Об этике»...

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть не вся жизнь, жизнь человека, бывшего когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революционные мечты, на грёзы об анархическом рае, — это среди нас-то, существ, ещё не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! — и кончилась смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине, среди наконец-то осуществившейся революции, над рукописью о человеческой этике.

# Волошин

**М**аксимилиан Волошин был одним из наиболее видных поэтов предреволюционных и революционных лет России и сочетал в своих стихах многие весьма типичные черты большинства этих поэтов: их эстетизм, снобизм, символизм, их увлечение европейской поэзией конца прошлого и начала нынешнего века, их политическую «смену вех» (в зависимости от того, что было выгоднее в ту или иную пору); был у него и другой грех: слишком литературное воспевание самых страшных, самых зверских злодеяний русской революции.

После его смерти появилось немало статей о нём, но сказали они, в общем, мало нового, мало дали живых черт его писательского и человеческого облика, некоторые же просто ограничились хвалами ему да тем, что пишется теперь чуть не поголовно обо всех, которые в стихах и прозе касались русской революции: возвели и его в пророки, в провидцы «грядущего русского катаклизма», хотя для многих из таких пророков достаточно бы-

ло в этом случае только некоторого знания начальных учебников русской истории. Наиболее интересные замечания о нём я прочёл в статье А. Н. Бенуа, в «Последних новостях»:

«Его стихи не внушали того к себе доверия, без которого не может быть подлинного восторга. Я „не совсем верил“ ему, когда по выступам красивых и звучных слов он взбирался на самые вершины человеческой мысли... Но влекло его к этим восхождениям совершенно естественно, и именно слова его влекли... Некоторую иронию я сохранил в отношении к нему навсегда, что ведь не возбраняется и при самой близкой и нежной дружбе... Близорукий взор, прикрытый пенсне, странно нарушал всё его „зевсоподобие“, сообщая ему что-то растерянное и беспомощное... что-то необычайно милое, подкупающее... Он с удивительной простотой душевной не то „медузировал“, не то забавлял кремлевских проконсулов, когда возымел наивную дерзость свои самые страшные стихи, полные обличений и трагических lamentаций, читать перед лицом советских идеологов и вершителей. И сошло это, вероятно, только потому, что и там

его не пожелали принять всерьёз...»

Я лично знал Волошина со времён довольно давних, но до наших последних встреч в Одессе, зимой и весной девятнадцатого года, не близко.

Помню его первые стихи, — судя по ним, трудно было предположить, что с годами так окрепнет его стихотворный талант, так разовьётся внешне и внутренне. Тогда были они особенно характерны для его «влечения к словам»:

*Мысли с рыданьями ветра сплетаются,  
Поезд гремит, перегнать их стараются,  
Так вот в ушах и долбит и стучит это:  
Титата, тотата, татата, титата...*

*Из страны, где солнца свет  
Льётся с неба, жгуч и ярк,  
Я привез себе в подарок  
Пару звонких кастаньет...*

*Склоняясь ниц, оваян ночи синью,*

*Доверчиво ищущими губами я  
Сосцы твои, натертые полыньёю,  
О мать-земля!*

Помню наши первые встречи, в Москве. Он уже был тогда знаменитым сотрудником «Весов», «Золотого руна». Уже и тогда очень тщательно «сделана» была его наружность, манера держаться, разговаривать, читать. Он был невысок ростом, очень плотен, с широкими и прямыми плечами, с маленькими руками и ногами, с короткой шеей, с большой головой, темно-рус, кудряв и бородат: из всего этого он, невзирая на пенсне, ловко сделал нечто довольно живописное на манер русского мужика и античного грека, что-то бычье и вместе с тем круторого-баранье. Пожив в Париже, среди мансардных поэтов и художников, он носил широкополую чёрную шляпу, бархатную куртку и накидку, усвоив себе в обращении с людьми старинную французскую оживлённость, общительность, любезность, какую-то смешную грациозность, вообще что-то очень изысканное, жеманное и «очаровательное», хотя задатки всего этого действительно были присущи его натуре. Как

почти все его современники-стихотворцы, стихи свои он читал всегда с величайшей охотой, всюду где угодно и в любом количестве, при малейшем желании окружающих. Начиная читать, тотчас поднимал свои толстые плечи, свою и без того высоко поднятую грудную клетку, на которой обозначались под блузой почти женские груди, делал лицо олимпийца, громовержца и начинал мощно и томно завывать. Кончив, сразу сбрасывал с себя эту грозную и важную маску: тотчас же опять очаровательная и вкрадчивая улыбка, мягко, салонно переливающийся голос, какая-то радостная готовность ковром лечь под ноги собеседнику — и осторожное, но неутомимое сладострастие аппетита, если дело было в гостях, за чаем или ужином...

Помню встречу с ним в конце 1905 года, тоже в Москве. Тогда чуть не все видные московские и петербургские поэты вдруг оказались страстными революционерами, — при большом, кстати сказать, содействии Горького и его газеты «Борьба», в которой участвовал сам Ленин. Это было во время первого большевицкого восстания, Горький крепко

сидел в своей квартире на Воздвиженке, никогда не выходя из неё ни на шаг, день и ночь держал вокруг себя стражу из вооружённых с ног до головы студентов-грузин, всех уверяя, будто на него готовится покушение со стороны крайних правых, но вместе с тем день и ночь принимал у себя огромное количество гостей, — приятелей, поклонников, «товарищей» и сотрудников этой «Борьбы», которую он издавал на средства некоего Скирмунта и которая сразу же пленила поэта Брюсова, ещё летом того года требовавшего водружения креста на св. Софии и произносившего монархические речи, затем Минского с его гимном: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — и немало прочих. Волошин в «Борьбе» не печатался, но именно где-то тут, — не то у Горького, не то у Скирмунта, — услышал я от него тогда тоже совсем новые для него песни:

*Народу русскому: я скорбный Ангел  
Мщенья!*

*Я в раны чёрные, в распаханную  
новь*

*Кидаю семена. Прошли века тер-  
пенья,*

*И голос мой — набат! Хоругвь  
моя, как кровь!*

Помню ещё встречу с его матерью, — это было у одного писателя, я сидел за чаем как раз рядом с Волошиным, как вдруг в комнату быстро вошла женщина лет пятидесяти, с седыми стриженными волосами, в русской рубахе, в бархатных шароварах и сапожках с лакированными голенищами, и я чуть не спросил именно у Волошина кто эта смехотворная личность? Помню всякие слухи о нём что он, съезжаясь за границей с своей невестой назначает ей первые свидания непременно где-нибудь на колокольне готического собора; что, живя у себя в Крыму он ходит в одной «тунике», проще говоря, в одной длинной рубахе без рукавов, [что] очень, конечно, смешно при его толстой фигуре и коротких волосатых ногах... К этой поре относится та автобиографическая заметка его, автограф которой был воспроизведён в «Книге о русских поэтах» и которая случайно сохранилась у меня до сих пор, — строки местами тоже довольно смешные:

«Не знаю, что интересно в моей жизни для

других. Поэтому перечислю лишь то, что было важно для меня самого.

Я родился в Киеве 16 мая 1877 года, в день Святого Духа.

События жизни исчерпываются для меня странами, книгами и людьми.

Страны: первое впечатление — Таганрог и Севастополь; сознательное бытие — окраины Москвы, Ваганьково кладбище, машины и мастерские железной дороги; отрочество — леса под Звенигородом; пятнадцать лет — Коктебель в Крыму, — самое ценное и важное на всю жизнь; двадцати трёх — Среднеазиатская пустыня — про-буждение самопознания; затем Греция и все побережья и острова Средиземного моря — в них обретённая родина духа; последняя ступень — Париж — сознание ритма и формы.

Книги-спутники: Пушкин и Лермонтов с пяти лет; с семи Достоевский и Эдгар По; с тринадцати Гюго и Диккенс; с шестнадцати Шиллер, Гейне, Байрон; с двадцати четырех французские поэты и Анатоль Франс; книги последних лет: Багават-Гита, Малларме, Поль Клодель, Анри де Ренье, Вилье де Лилль

Адан, — Индия и Франция.

Люди: лишь за последние годы они стали занимать в жизни больше места, чем страны и книги. Имена их не назову...

Стихи я начал писать тринадцати лет, рисовать двадцати четырёх...»

В ту пору всюду читал он и другое своё прославленное стихотворение из времён французской революции, где тоже немало ударно-эстрадных слов:

*Это гибкое, страстное тело  
Растоптала ногами толпа мне...*

Потом было слышно, что он участвует в построении где-то в Швейцарии какого-то антропософского храма...

Зимой девятнадцатого года он приехал в Одессу из Крыма, по приглашению своих друзей Цетлиных, у которых и остановился. По приезде тотчас же проявил свою обычную деятельность, — выступал с чтением своих стихов в Литературно-художественном кружке, затем в одном частном клубе, где почти все проживавшие тогда в Одессе столичные писатели читали за некоторую плату свои произ-

ведения среди пивших и евших в зале перед ними «недорезанных буржуев»... Читал он тут много новых стихов о всяких страшных делах и людях как древней России, так и современной, большевицкой. Я даже дивился на него — так далеко шагнул он вперед в писании стихов, и в чтении их, так силён и ловок стал и в том и в другом, но слушал его даже с некоторым негодованием; какое, что называется, «великолепное», самоупоенное и, по обстоятельствам места и времени, кощунственное словоизвержение! — и, как всегда, всё спрашивал себя: на кого же в конце концов похож он? Вид как будто грозный, пенсне строго блестит, в теле всё как-то поднято, надуту, концы густых волос, разделённых на прямой пробор, завиваются кольцами, борода чудесно круглится, маленький ротик открывается в ней так изысканно, а гремит и завывает так гулко и мощно... Кряжистый мужик русских крепостных времён? Приап? Кашалот? — Потом мы встретились на вечере у Цетлиных, и опять это был «милейший и добрейший Максимилиан Александрович». Присмотревшись к нему, увидел, что наружность

его с годами уже несколько огрубела, отяжелела, но движения по-прежнему легки, живы; когда перебегает через комнату, то перебегает каким-то быстрым и мелким аллюром, говорит с величайшей охотой и много, весь так и сияет общительностью, благорасположением ко всему и ко всем, удовольствием от всех и от всего — не только от того, что окружает его в этой светлой, тёплой и людной столовой, но даже как бы ото всего того огромного и страшного, что совершается в мире вообще и в тёмной, жуткой Одессе в частности, уже близкой к приходу большевиков. Одет при этом очень бедно — так уж истёрта его коричневая бархатная блуза, так блестят черные штаны и разбиты башмаки... Нужду он терпел в ту пору очень большую.

Дальше беру (в сжатом виде) кое-что из моих тогдашних заметок:

— Французы бегут из Одессы, к ней подходят большевики. Цетлины садятся на пароход в Константинополь. Волошин остаётся в Одессе, в их квартире. Очень возбуждён, как-то особенно бодр, лёгок. Вечером встретил его на улице: «Чтобы не быть выгнанным, устраи-

ваю в квартире Цетлиных общежитие поэтов и поэтесс. Надо действовать, не надо предаваться унынию!»

— Волошин часто сидит у нас по вечерам. По-прежнему мил, оживлён, весел. «Бог с ней, с политикой, давайте читать друг другу стихи!» Читает, между прочим, свои «Портреты». В портрете Савинкова отличная черта — сравнение его профиля с профилем лося.

Как всегда, говорит без умолку, затрагивая множество самых разных тем, только делая вид, что интересуется собеседником. Конечно, восхищается Блоком, Белым и тут же Анри де Ренье, которого переводит.

Он антропософ, уверяет, будто «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли на себя облик людей вместе со всеми их грехами, так что всегда надо помнить, что в каждом самом худшем человеке сокрыт ангел...

— Спасаем от реквизиции особняк нашего друга, тот, в котором живем, — Одесса уже занята большевиками. Волошин принимает в этом самое горячее участие. Выдумал, что у нас будет «Художественная неореалистическая школа». Бегает за разрешением на от-

крытие этой школы, в пять минут написал для неё замысловатую вывеску. Сыплет сентенциями: «В архитектуре признаю только готику и греческий стиль. Только в них нет ничего, что украшает».

— Одесские художники, тоже всячески стараясь спастись, организуются в профессиональный союз вместе с малярами. Мысль о малярах подал, конечно, Волошин. Говорит с восторгом: «Надо возвратиться к средневековым цехам!»

— Заседание (в Художественном кружке) журналистов, писателей, поэтов и поэтесс, тоже «по организации профессионального союза». Оченьлюдно, много публики и всяких пишущих, «старых» и молодых. Волошин бегаёт, сияет, хочет говорить о том, что нужно и пишущим объединиться в цех. Потом, в своей накидке и с висящей за плечом шляпой, — еёшнур прицеплен к крючку накидки, — быстро и грациозно, мелкими шажками выходит на эстраду: «Товарищи!» Но тут тотчас же поднимается дикий крик и свист: буйно начинается скандалить орава молодых поэтов, занявших всю заднюю часть эстрады: «Долой! К

чёрту старых, обветшалых писаек! Клянемся умереть за Советскую власть!» Особенно бесчинствуют Катаев, Багрицкий, Олеша. Затем вся орава «в знак протеста» покидает зал. Волошин бежит за ними — «они нас не понимают, надо объясниться!»

— Часовая стрелка переведена на два часа двадцать пять минут вперёд, после девяти запрещено показываться на улице. Волошин иногда у нас ночует. У нас есть некоторый запас сала и спирта, он ест жадно и с наслаждением и всё говорит, говорит и всё на самые высокие и трагические темы. Между прочим, из его речей о масонах ясно, что он масон, — да и как бы он мог при его любопытстве и прочих свойствах характера упустить случай попасть в такое сообщество?

— Большевики приглашают одесских художников принять участие в украшении города к первому мая. Некоторые с радостью хватаются за это приглашение: от жизни, видите ли, уклоняться нельзя, кроме того, «в жизни самое главное — искусство и оно вне политики». Волошин тоже загорается рвением украшать город, фантазирует, как надо это

сделать: хорошо, например, натянуть над улицами и по фасадам домов полотнища, расписанные ромбами, конусами, пирамидами, цитатами из разных поэтов... Я напоминаю ему, что в этом самом городе, который он собирается украшать, уже нет ни воды, ни хлеба, идут непрерывные облавы, обыски, аресты, расстрелы, по ночам — непроглядная тьма, разбой, ужас... Он мне в ответ опять о том, что в каждом из нас, даже в убийце, в кретине сокрыт страждущий Серафим, что есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в людей, дабы приять распятие, горение, из коего возникают какие-то прокалённые и просветленные лики...

— Я его не раз предупреждал: не бегайте к большевикам, они ведь отлично знают, с кем вы были ещё вчера. Болтает в ответ то же, что и художники: «Искусство вне времени, вне политики, я буду участвовать в украшении только как поэт и как художник».

«В украшении чего? Собственной виселицы?»

— Всё-таки побежал. А на другой день в «Известиях»: «К нам лезет Волошин, всякая

сволочь спешит теперь примазаться к нам...» Волошин хочет писать письмо в редакцию, полное благородного негодования...

— Письмо, конечно, не напечатали. Я и это ему предсказывал. Не хотел и слушать: «Не могут не напечатать обещали, я был уже в редакции», Но напечатали только одно: «Волошин устранён из первомайской художественной комиссии». Пришёл к нам и горько жаловался: «Это мне напоминает тот случай, когда ни одна из газет, травивших меня за то, что я публично развенчал Репина, не дала мне места ответить на эту травлю!»

— Волошин хлопочет, как бы ему выбраться из Одессы домой, в Крым. Вчера прибежал к нам и радостно рассказал, что дело устраивается и, как это часто бывает, через хорошенькую женщину. «У неё реквизирует себе помещение председатель Чека Северный, Геккер познакомила меня с ней, а она с Северным». Восхищался и им: «У Северного кристалльная душа, он многих спасает!» — «Приблизительно одного из ста убиваемых?» — «Всё же это очень чистый человек...» И, не удовольствовавшись этим, имел жестокую

наивность рассказать мне ещё то, что Северный простить себя не может, что выпустил из своих рук Колчака, который будто бы попался ему од-нажды в руки крепко...

— Помогает Волошину пробраться в Крым ещё и через «морского комиссара и командующего черноморским флотом» Немица, который, по словам Волошина, тоже поэт, «особенно хорошо пишет рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную большевицкую миссию в Севастополь. Беда только в том, что её не на чем послать: весь флот Немица состоит, кажется, из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь...

Если считать по новому стилю, он уехал из Одессы (на этом самом дубке) в начале мая. Уехал со спутницей, которую называл Татидой. Вместе с нею провёл у нас последний вечер, ночевал тоже у нас. Провожать его было всё-таки грустно. Да и всё было грустно: сидели мы в полутьме, при самодельном ночнике, — электричества не позволяли зажигать, — угощали отъезжающих чем-то очень жалким. Одет он был уже по-дорожному — матроска, берет. В карманах держал немало

разных спасительных бумажек, на все случаи: на случай большевицкого обыска при выходе из одесского порта, на случай встречи в море с французами или добровольцами, — до большевиков у него были в Одессе знакомства и во французских командных кругах, и в добровольческих. Всё же все мы, в том числе и он сам, были в этот вечер далеко не спокойны: Бог знает, как-то сойдет это плавание на дубке до Крыма... Беседовали долго и на этот раз почти во всём согласно, мирно. В первом часу разошлись наконец: на рассвете наши путешественники должны были быть уже на дубке. Прощаясь, взволновались, обнялись. Но тут Волошин почему-то неожиданно вспомнил, как он однажды зимой сидел с Алексеем Толстым в кофейне Робина, как им вдруг пришло в голову начать медленно, но всё больше и больше — и притом, с самыми серьезными, почти зверскими лицами, — надуваться, затем так же медленно выпускать дыхание и как вокруг них начала собираться удивлённая, не понимающая в чём дело, публика. Потом очень хорошо стал изображать медвежонка...

С пути он прислал нам открытку, писанную 16 мая в Евпатории:

«Пока мы благополучно добрались до Евпатории и второй день ждём поезда. Мы пробыли день на Кинбурнской Косе, день в Очакове, ожидая ветра, были дважды останавливаемы французскими миноносцами, болтались ночь без ветра, во время мёртвой зыби, были обстреляны пулеметным огнём под Ак-Мечетью, скакали на перекладных целую ночь по степям и гниющим озёрам, а теперь застряли в грязнейшей гостинице, ожидая поезда. Всё идет не скоро, но благополучно. Масса любопытнейших человеческих документов... Очень приятно вспоминать последний вечер, у вас проведённый, который так хорошо закончил весь нехороший одесский период».

В ноябре того же года пришло ещё одно письмо от него, из Коктебеля. Привожу его начало:

«Большое спасибо за ваше письмо: как раз эти дни всё почему-то возвращался мысленно к вам, и оно пришло как бы ответом на мои мысли.

Мои приключения только и начались с выездом из Одессы. Мои большевицкие знакомства и встречи развивались по дороге от матросов-разведчиков до „командарма“, который меня привёз в Симферополь в собственном вагоне, оказавшись моим старым знакомым.

Потом я сидел у себя в мастерской под артиллерийским огнём: первый десант добровольцев был произведен в Коктебеле, и делал его „Кагул“, со всею командой которого я был дружен по Севастополю: так что их первый визит был на мою террасу.

Через три дня после освобождения Крыма я помчался в Екатеринодар спасать моего друга генерала Маркса, несправедливо обвинённого в большевизме, которому грозил расстрел, и один, без всяких знакомств и связей, добился-таки его освобождения. Этого мне не могут простить теперь феодосийцы, и я сейчас здесь живу с репутацией большевика, и на мои стихи смотрят как на большевицкие.

Кстати: первое издание „Демонов глухонемых“ распространялось в Харькове большевицким „Центрагом“, а теперь ростовский (добровольческий) „Осваг“ взял у меня

несколько стихотворений из той же книги для распространения на летучках. Только в июле месяце я наконец вернулся домой и сел за мирную работу...

Работаю исключительно над стихами. Все написанные летом я переслал Гроссману для одесских изданий. Поэтому относительно моих стихотворений на общественные темы спросите его, а я посылаю вам пока для „Южного слова“ два прошлогодних, лирических, ещё нигде не появлявшихся, и две небольшие статьи: „Пути России“ и „Самогон крови“. Сейчас уже два месяца работаю над большой поэмой о св. Серафиме, весь в этом напряжении и неуверенности, одолею ли эту грандиозную тему. Он должен составить диптих с „Аввакумом“.

Зимовать буду в Коктебеле: этого требует и работа личная, и сумасшедшие цены, за которыми никакие гонорары угнаться не могут. Кстати, о гонораре: теперь я получаю за стихи десять рублей за строку, а статьи по три за строку. Это минимум, поэтому, если „Южное слово“ за стихи заплатит больше, я не откажусь.

Мне бы очень хотелось, И. А., чтобы вы прочли все мои новые стихи, что у Гроссмана: я в них сделал попытку подойти более реалистически к современности (в цикле „Личины“, стих. „Матрос“, „Красногвардеец“, „Спекулянт“ и т. д.), и мне бы очень хотелось знать ваше мнение.

Я ещё до сих пор переполнен впечатлениями этой зимы, весны и лета: мне действительно удалось пересмотреть всю Россию во всех её партиях, и с верхов и до низов. Монархисты, церковники, эсеры, большевики, добровольцы, разбойники... Со всеми мне удалось провести несколько интимных часов в их собственной обстановке...»

Это письмо было для меня последней вестью о нём.

Теперь уже давно нет его в живых. Ни революционером, ни большевиком он, конечно, не был, но, повторяю, вёл себя всё же очень странно.

Вот девятнадцатый год: этот год был одним из самых ужасных в смысле большевических злодеяний. Тюрмы Чека были по всей России переполнены, — хватали кого попало,

во всех подозревая контрреволюционеров, — каждую ночь выгоняли из тюрем мужчин, женщин, юношей на тёмные улицы, стаскивали с них обувь, платья, кольца, кресты, делили меж собою. Гнали разутых, раздетых по ледяной земле, под зимним ветром, за город, на пустыри, освещали ручным фонарём... Минуту работал пулемёт, потом валили, часто недобитых, в яму, кое-как заваливали землёй... Кем надо было быть, чтобы бряцать об этом на лире, превращать это в литературу, литературно-мистически закатывать по этому поводу под лоб очи? А ведь Волошин бряцал:

*Носят вёдрами спелые гроздья,  
Валят ягоды в глубокий ров...  
Ах, не гроздья носят, юношей го-  
нят  
К чёрному точилу, дают вино!*

Чего стоит одно это томное «ах!». Но он заливался ещё слаще:

*Вейте, вейте, снежные стихи,  
Замечайте древние гроба!*

То есть: канун вам да ладан, милые юно-

ши, гонимые «к чёрному точилу»! По человечеству жаль вас, конечно, но что ж поделаешь: ведь убийцы чекисты суть «снежные, древние стихии»:

*Верю в правоту верховных сил,  
Расковавших древние стихии,  
И из недр обугленной России  
Говорю: «Ты прав, что так судил!»*

*Надо до алмазного закала  
Прокалить всю толщу бытия,  
Если ж дров в плавильне мало, —  
Господи, вот плоть моя!*

Страшней всего то, что это было не чудовище, а толстый и кудрявый эстет, любезный и неутомимый говорун и большой любитель покушать. Почти каждый день, бывая у меня в Одессе весной девятнадцатого года, когда «чёрное точило», — или, не столь кудряво говоря, Чека на Екатерининской площади, — весьма усердно «прокаляла толщу бытия», он часто читал мне стихи насчёт то «снежной», то «обугленной» России, а тотчас после того свои переводы из Анри де Ренье, потом опять пускался в оживлённое антропософическое

красноречие. И тогда я тотчас говорил ему:

— Максимилиан Александрович, оставьте всё это для кого-нибудь другого. Давайте лучше закусим: у меня есть сало и спирт.

И нужно было видеть, как мгновенно обрывалось его красноречие и с каким аппетитом уписывал он, несчастный, голодный, сало, совсем забывши о своей пылкой готовности отдать свою плоть Господу в случае надобности.

1930

# Горький

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, — странной потому, что чуть ли не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, — начало это относится к 1899 году. А конец — к 1917. Тут случилось, что человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, вдруг оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне ужас, негодование. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. И вот нечто совершенно неожиданное:

— L'ecrivain Maxime Gorki est decede... Alexis Pechkoff connu en litterature sous le nom Gorki, etait ne en 1868 a Nijni-Novgorod d'une famille du cosaques...[50]

Ещё одна легенда о нём. Босьяк, теперь вот казак... Как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет о многом в жизни Горького точного представления. Кто знает его биографию достоверно? И почему большевики, провозгласившие его величайшим гением, изда-

ющие его несметные писания миллионами экземпляров, до сих пор не дали его биографии? Сказочна вообще судьба этого человека. Вот уже сколько лет мировой славы, совершенно беспримерной по незаслуженности, основанной на безмерно счастливом для её носителя стечении не только политических, но и весьма многих других обстоятельств, — например, полной неосведомленности публики в его биографии. Конечно, талант, но вот до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы наконец здраво и смело о том, что такое и какого рода этот талант, создавший, например, такую вещь, как «Песня о соколе», — песня о том, как совершенно неизвестно зачем «высоко в горы вполз уж и лёг там» а к нему прилетел какой-то ужасно гордый сокол. Все повторяют: «босьяк, поднялся со дна моря народного...» Но никто не знает довольно знаменательных строк, напечатанных в словаре Брокгауза: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 69-м году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой паровой конторы; мать — дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее — никому в

точности не ведомо, основано только на автобиографии Горького, весьма подозрительной даже по одному своему стилю: «Грамоте — учился я у деда по псалтырю, потом, будучи поварёнком на пароходе, у повара Смурого, человека сказочной силы, грубости и — нежности...» Чего стоит один этот сусальный вечный Горьковский образ! «Смурый привил мне, дотоле люто ненавидевшему всякую печатную бумагу, свирепую страсть к чтению, и я до безумия стал зачитываться Некрасовым, журналом „Искра“, Успенским, Дюма... Из поварят попал я в садовники, поглощал классиков и литературу лубочную. В пятнадцать лет возымел свирепое желание учиться, поехал в Казань, простодушно полагая, что науки желающим даром преподаются. Но оказалось, что оно не принято, вследствие чего и поступил в крендельное заведение. Работая там, свёл знакомство со студентами... А в девятнадцать лет пустил в себя пулю, и, прохворав, сколько полагается, ожил, дабы приняться за коммерцию яблоками... В своё время был призван к отбыванию воинской повинности, но, когда обнаружилось, что дырявых не бе-

рут, поступил в письмоводители к адвокату Ланину, однако же вскоре почувствовал себя среди интеллигенции совсем не на своём месте и ушёл бродить по югу России...» В 82-м году Горький напечатал в газете «Кавказ» свой первый рассказ «Макар Чудра», который начинается на редкость пошло: «Ветер разносил по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны... Мгла осенней ночи пугливо вздрагивала и пугливо отодвигалась от нас при вспышках костра, над которым возвышалась массивная фигура Макара Чудры, старого цыгана. Полулежа в красивой свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: „Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге! Он, парень, раб!“» А через три года после того появился знаменитый «Челкаш». Уже давно шла о Горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и «Макаром Чудрой» и последующими созданиями горьковского пера: «Емельян Пилляй», «Дед Архип и Ленька»... Уже славился

Горький и сатирами — например, «О чиже, любителе истины, и о дятле, который лгал», — был известен, как фельетонист, писал фельетоны (в «Самарской Газете»), подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился «Челкаш»...

Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нём; в Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошёл вдруг слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с такими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы с Горьким весной 99-го года. Приезжаю в Ялту, — иду как-то по набережной и вижу: навстречу идёт с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и всё время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здравуюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой жёлтая

шёлковая рубаша, подпоясанная длинным и толстым шёлковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и несколько сутулый, рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и жёлтыми усиками, которые он, покашливая, всё поглаживает большими пальцами: немножко поплюёт на них и погладит. Пошли дальше, он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в её мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и всё образами и всё с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков, — скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности, — все эти богачи были совер-

шенно былинные исполины, — а кроме того, и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал. Но Горький всё говорил и говорил...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

— Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребёнком на руках, потом кусок шёлка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

— Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу...

Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове: милый, шутиво-ломающийся, скромный до самоунижения,

говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то всё время как бы извиняющимся, наигранно-задушевым волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, — впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи и всё одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с лёгкостью вызывая даже слёзы на свои зеленоватые глаза. Тут обнаружились другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, — на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики перед ним, рассказывал всё что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, — когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромн и за-

стенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговор о которых был настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить ещё тогда, в Ялте:

— Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать её всеми силами души, — только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и искренность — можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, — пусть простят мне это слово, — воровской щеголеватостью, мягкостью, легкостью, — я не мало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, лас-

ковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал её, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны — кожа лба и брови все лезли вверх, к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, — то, что потом так сказалось у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил скачкой по комнате.

Ко времени первой моей встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъёма русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла ещё страстная борьба между «народниками» и недавно появивши-

мися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот, каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он всё менялся и менялся и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая Жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

— Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплёл бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливица все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не

спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался всё угловатее, всё неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул красное вино, — выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, — громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабаня большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но с ними как-то вскользь, они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица, и упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляя в свое обращение к нему его имя:

— Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Всё молодое уже исчезло в нём — с ним это случилось очень быстро, — цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, — его уже называли унтером, на лице появилось много морщин, во взгляде — что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто грубил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, — сама Ермолова и уже старая в ту пору: подошла к нему и поднесла ему подарок — чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, — так покраснела, что у неё слезы из глаз выступили:

— Вот Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил, мял в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на неё.

— Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по сво-

ей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

— «Доколе же Ты не отворишь от меня взора, не будешь отпускать меня на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андрейев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить сапоги с голенищами, блузы и поддевки. Это было нестерпимо.

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, — были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая Жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках Знания». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие, — больше всего из-за марки «Знания», — тоже не плохо. «Знание» сильно по-

высило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он — 1000 рублей: большие деньги он всегда любил. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился — как это его на всё хватает: изо дня в день на людях, — то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, — говорит порой не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов — и пишет своим круглым, крепким почерком роман за романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой

и начал писать). А сколько он читал, вечный полу-интеллигент, начётчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал её в то недолгое время, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил он и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... в 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, — до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним навсегда. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с «культурным» призывом о какой-то «Акаде-

мии свободных наук», потащил и меня с Шаляпиным туда. Выйдя на сцену, сказал: «Товарищи, среди нас такие-то...» Собрание очень бурно нас приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, Шаляпиным и А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведёрко с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал...

Вскоре после захвата власти большевиками он приехал в Москву, остановился у своей жены Екатерины Павловны, и она сказала мне по телефону: «Алексей Максимович хочет поговорить с вами». Я ответил, что говорить нам теперь не о чем, что я считаю наши отношения с ним навсегда конченными.

1936

# Его Высочество

Разбирая свои бумаги, нашёл пакет с пометкой: «Пётр Александров».

В пакете — пачка писем ко мне «Петра Александрова», затем рукопись его наброска «Одиночество», книжечка рассказов («Пётр Александров. Сон. Париж, 1921 год») и еще вырезка из парижской социалистической газеты «Дни» — статья М. А. Алданова, посвящённая его кончине: он провёл остаток своей жизни в эмиграции и умер на пятьдесят шестом году от рождения, в скоротечной чахотке.

Это был удивительный человек.

Алданов назвал его человеком «совершенно удивительной доброты и душевного благородства». Но он был удивителен и многими другими качествами. Он был бы удивителен ими, если бы даже был простым смертным. А в нём текла царская кровь, он, избравший для своей литературной деятельности столь скромное имя, — Пётр Александров, — в жизни носил имя куда более громкое: принц Пётр Александрович Ольденбургский. Он был из

рода, считающегося одним из самых древних в Европе, — последний из русской ветви принцев Ольденбургских, слившейся с родом Романовых, — был правнук Императора Павла Петровича, был женат на дочери Александра III (Ольге Александровне).

Крайнее удивление вызвал он во мне в первую же встречу с ним. Это было несколько лет тому назад, в Париже. Я зашёл по какому-то делу в Земгор. Там, в приемной, было множество народу и позади всех, у дверей, одиноко стоял какой-то пожилой человек, очень высокий и на редкость худой, длинный, похожий на военного в штатском. Я прошёл мимо него быстро, но сразу выделил его из толпы. Он терпеливо ждал чего-то, стоял тихо, скромно, но вместе с тем так свободно, легко, прямо, что я тотчас подумал: «Какой-нибудь бывший генерал...» Я мельком взглянул на него, на мгновение испытал то пронзительное чувство, которое нередко испытываешь теперь при виде некоторых пожилых и бедных людей, знавших когда-то богатство, власть, знатность: он был очень чисто (по-военному чисто) выбрит и вымыт и

точно так же чист аккуратен и в одежде, очень простой и дешёвой: лёгкое непромокаемое пальто неопределённого цвета, бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца... Меня удивил его рост, его худоба, — какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы музейное, — его череп, совсем голый, маленький, породистый до явных признаков вырождения, сухость и тонкость красноватой, как бы слегка спаленной кожи на маленьком костлявом лице, небольшие подстриженные усы тоже красно-жёлтого цвета и выцветшие глаза, скорбные, тихие и очень серьёзные, под треугольно поднятыми бровями (вернее следами бровей). Но удивительнее всего было то, что произошло вслед за этим: ко мне подошёл один из моих знакомых и, чему-то улыбаясь, сказал:

— Его Высочество просит позволения представиться вам.

Я подумал, что он шутит: где же это слышано, чтобы высочества и величества просили позволения представиться!

— Какое высочество?

— Принц Пётр Александрович Ольденбургский. Разве вы не видели? Вон он, стоит у двери.

— Но как же это — просит позволения представиться?

— Да видите ли, он вообще человек какой-то совсем особенный...

А затем я узнал, что он пишет рассказы из народного быта в духе толстовских народных сказок. Вскоре после нашего знакомства он приехал ко мне и привёз ту самую книжечку, насчёт которой и ходил в Земгор, печатая её на свои средства в типографии Земгора: три маленьких рассказа под общим заглавием: «Сон». Алданов, упоминая об этих рассказах, говорит: «Средневековые хроники с ужасом говорят о кровавых делах рода Ольденбургских... Один из Ольденбургских, Эгильмар, был особенно знаменит своей свирепостью... А потомок этого Эгильмара и правнук императора Павла Петровича писал рассказы из рабочей и крестьянской жизни, незадолго до кончины выразил желание вступить в Народно-Социалистическую партию! Разные были в России великие князья. Были и такие, что в

1917 году оказались пламенными республиканцами и изумляли покойного Родзянко красной ленточкой в петлице. Принц Ольденбургский не нацеплял на себя этой ленточки. Тесная дружба, закреплённая в детстве, в день 1-го марта 1881 года, — день убийства императора Александра II, — связывала его с Николаем II — и едва ли кто другой так бескорыстно любил Николая II. Но политику его он всегда считал безумной. Он пытался даже переубедить царя и, не доверяя своей силе убеждения, хотел сблизить его с Толстым. Это одно уже даёт представление об образе мысли и о душевном облике Ольденбургского. В нём не было ничего от „красного принца“, от обязательного для каждой династии Филиппа Эгалитэ. Он никогда не гонялся и не мог гоняться за популярностью, которую было нетрудно приобрести в его положении...»

Рассказы его были интересны, конечно, только тем, что тоже давали представление о его душевном облике. Он писал о «золотых» народных сердцах, внезапно прозревающих после дурмана революции и страстно отдающихся Христу, Его заветам братской любви

между людьми, — «единственного спасения мира во всех его страданиях», — писал горячо, лирически, но совсем неумело, наивно. Он, впрочем, и сам понимал это и, когда мы сошлись и подружились, не раз говорил мне со всей трогательностью своей безмерной скромности:

— Прости, ради Бога, что всё докучаю тебе своими писаниями. Знаю, что это даже дерзко с моей стороны: знаю, что пишу я как ребенок... Но ведь в этом вся моя жизнь теперь. Пишу мало, редко, всё больше только мечтаю, только собираюсь писать. Но мечтаю день и ночь и всё-таки надеюсь, что напишу наконец что-нибудь путное...

Достаточно удивительно для принца царской крови и его «Одиночество». В нём есть такие строки:

— «Конец сентября. Погожий день. Кругом полосы изумрудных зеленей, жёлтого жнивья, чёрных взмётов; тихо летают нити серебряной паутины, темнеют ещё не успевшие облететь дубравы, далеко, между островами лесов, белеют церкви. Я верхом. На рыску две борзые собаки, белый кобель и красная сука,

идут у самых ног лошади. Кабардинец, слегка покачиваясь, мягко ступает по ройным зеленым. Я постепенно погружаюсь в какую-то полудремоту. Поводья выпали из рук, лежат, свесившись с шеи лошади; я не поднимаю их, боясь пошевелиться, чтобы не нарушить охватившего всё моё существо блаженного оцепенения...»

— «Из-под ног лошади выскакивает русак, лошадь вздрагивает, я невольно хватаюсь за поводья. „Ату его, ату его!“ — что есть силы кричу я, скача за собаками. Белый кобель достаёт его, сшибает на зеленыя...»

— «Еду посёлком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша, идут позади лошади. Постепенно угар травли проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то же состояние, но напрасно... Зачем не слышу я Её звонкого смеха, не вижу Её больших добрых глаз, Её ласковой улыбки? Неужели навсегда, на всю жизнь разлука, одиночество?»

— «Въезжаю в село. Весело гудят молотилки, хлопают о землю цепи... Недалеко от церкви, на выгоне, останавливаюсь около

закоптелой кузницы: — Семён, а Семён, несколько раз повторяю я, не слезая с лошади. — Из сарая выходит маленький плотный мужик, подходит к лошади, здоровается, ласково глядит на меня снизу вверх, улыбается.

— Здравствуй, Семён. Не зайдёшь ли сегодня ко мне вечером посидеть, побеседовать? — робко, почти с мольбой спрашиваю я его, боясь отказа. — Что ж, зайду, спасибо, — отвечает он просто, теребя второченного русака...»

— «Недалеко за селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный белый дом с колоннами и мезонином, направо конюшни, налево — флигелёк, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я слезаю с лошади, он берёт её под уздцы, уводит в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и страницы... Подхожу к окну, гляжу на двор, на заколоченный дом, иду к столу, наливаю стакан водки, залпом выпиваю...»

Зная, что в этих строках нет ни одного слова выдумки, трудно читать их, не качая голо-

вой: какой странный человек! А что выдумки в них нет, об этом он сам говорил мне. Написав «Одиночество», он особенно просил меня помочь ему напечатать его где-нибудь со своей обычной детской простосердечностью и застенчивостью:

— Не скрою от тебя, это мне доставило бы большую радость. Мне набросок очень дорог, потому что в нём, прости за интимность, всё правда, — то, что пережито мной лично и что очень мучило меня когда-то... то есть, тогда, когда мы разошлись с Олей... с Ольгой Александровной...

Перечитывая эти строки, опять задаю себе всё тот же вопрос, который постоянно приходит мне в голову при воспоминании о покойном: но кто же, в конце концов, был этот принц, робко просивший кузнеца провести с ним вечер, человек, с истинной святой простотой называвший при посторонних Николая II — Колей? (Да, однажды, на одном вечере у одного нашего знакомого, где большинство гостей были старые революционеры, он, слушая их оживлённую беседу, совершенно искренно воскликнул: «Ах, какие вы всё ми-

лые, прелестные люди! И как грустно, что Коля никогда не бывал на подобных вечерах! Всё, всё было бы иначе, если бы вы с ним знали друг друга!»). Ответить на этот вопрос, — что за человек был он, — я точно никогда не мог. Не могу и теперь. Некоторые называли его просто «ненормальным». Все так, но ведь и святые, блаженные были «ненормальными»...

Письма ко мне тоже очень рисуют его. Привожу некоторые строки из них:

— ...Я поселился в окрестностях Байоны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завёл корову, кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде... По субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-дэ-Люз... Давно ничего не писал: даже не могу кончить начатого ещё летом рассказа: когда кончу, пришлю его Тебе с просьбой подвергнуть самой строгой критике... Очень соскучился по парижским знакомым... Переносушь мысленно в вашу парижскую квартиру, как было мне уютно у вас и как хорошо говорилось! Никогда не забуду вашего более чем доброго отношения ко мне...

(1921 г.)

— ...Спасибо Тебе большое за ласковое, доброе и милое письмо! Радуюсь от души, что Ты опять принялся за работу. Ты пишешь, что вы собираетесь на юг, что в Париже дорого и холодно... Приезжайте в наши края, тут и теплей и дешевле. Этим летом, прежде чем поселиться на ферме, я два раза останавливался в одном пансиончике в предместье Сэн-Жан-дэ-Люз. Платил двадцать франков за всё, стол отличный, комнаты, конечно, далеко не роскошны, но чисты и приятны, хозяйки, мать и две дочери, баски, потомки знаменитого китолова, патриархальны, симпатичны, я чувствовал себя у них, как дома... (1921 г.)

— ...Здесь стояли холода, теперь настала дождливая погода, море бушует... Настроение у меня нерадостное, хочется поскорее весны, думается, что с ней пройдет и тоска. Сегодня начал писать, но что-то не пишется, не нахожу слов для выражения мысли, изображения картины... (1922 г.)

— ...Своим письмом Ты меня несказанно обрадовал. Спасибо Тебе большое за всё, что Ты для меня сделал... Начал писать задуман-

ную повесть, но пишу с большим трудом. Погода ужасная, бури, дождь; может быть, с весной, с солнцем станет на душе легче, а пока тоска и страшно одиноко... Очень прошу Тебя не отказать сообщить мне, когда будет напечатан мой рассказ в «Сполохах» и где можно купить этот журнал? С нетерпением жду свидания с Тобой в Париже... (1922 г.)

В сущности я знал его мало: встречал не часто, — мы все жили в разных местах, — до эмиграции даже не видел никогда, сведений о его прежней жизни, в России, имею немного: до войны он, в чине генерал-майора, командовал стрелками императорской фамилии... в 1917 году вышел в отставку и поселился в деревне, в Воронежской губернии, где мужики — тоже довольно странная история — предлагали ему кандидатуру в Учредительное Собрание... Потом, с наступлением террора, бежал во Францию и большей частью жил по соседству со своим отцом Александром Петровичем Ольденбургским, на этой ферме под Байоной (которую, кстати сказать, он завещал своему бывшему денщику, тоже бежавшему вместе с ним из России и

неотлучно находившемся при нём почти до конца его жизни в качестве и слуги и друга)... Неизвестен мне полностью и его характер, — Бог ведает, может быть, были в нём, кроме тех черт, которые знал я, и другие какие-нибудь. Я же знал только прекрасные: эту действительно «совершенно исключительную доброту», это «душевное благородство», равное которому надо днём с огнём искать, необыкновенную простоту и деликатность в обращении с людьми, редкую нежность в дружбе, горячее и неустанное стремление ко всему, что даёт человеческому сердцу мир, любовь, свет и радость...

Сперва он жил под Парижем, — и тут мы встречались чаще всего, — потом, как уже сказано выше, под Байоной. Потом он неожиданно, к общему нашему изумлению, вторично женился: встречаю его как-то в нашем консульстве (это было ещё до признания Францией большевиков, тогда, когда Посольство на улице Гренелль ещё оставалось в нашем эмигрантском распоряжении) и вдруг он как-то особенно нежно обнимает меня и говорит: «Не дивись, я тебя представлю сейчас мо-

ей невесте... Мы с ней пришли сюда как раз по нашему делу, насчет исполнения разных формальностей, нужных нам для свадьбы...»  
Брачная жизнь его продолжалась, однако, опять недолго. Недолго после того и прожил он. Через год, приехав весной искать дачу в Вансе (около Ниццы), мы с женой вдруг встретили его там: одиноко сидит возле кафе на площади, увидав нас, удивленно вскакивает, спешит навстречу:

— Боже, как я рад! Вот не чаял!

— А ты зачем и почему здесь?

Он махнул рукой и заплакал:

— Видишь: даже не смею обнять тебя и поцеловать руку Вере Николаевне, у меня внезапно открылась чахотка, послали сюда лечиться, спасаться югом...

Юг ему не помог. Он переехал в Париж, жил свою последнюю зиму в санатории. Но не помогла и санатория: к весне его опять перевезли на Ривьеру, где он вскоре и скончался — в бедности, в полном одиночестве...

Той зимой он в последний раз посетил меня. Попросил письмом позволения приехать, «Умоляю Тебя, как только это будет Тебе воз-

можно, назначь мне свидание по очень важному для меня делу...» И вскоре, как-то вечером, приехал — едва живой, задыхающийся, весь облитый дождём. И дело его оказалось такое, что мне и теперь больно вспомнить о нём: его хотели взять в опеку, объявить умалишенным (всё из-за того, что он подписал ферму под Байоной своему денщику), и вот он приехал просить меня написать куда-то удостоверение, что я нахожу его в здравом уме и твердой памяти...

— Но, дорогой мой, помилуй, какое же может иметь значение моё удостоверение?

— Ах, ты не знаешь: очень большое! Если можешь, пожалуйста, напиши!

Я, конечно, написал. Но вскоре смерть освободила его от всех наших удостоверений.

-

Гроб его стоит теперь в подземелии русской церкви в Каннах, ожидая России, упокоения в родной земле.

# Маяковский

Кончая свои писательские воспоминания, думаю, что Маяковский останется в истории литературы большевицких лет как самый низкий, самый циничный и вредный слуга советского людоедства, по части литературного восхваления его и тем самым воздействия на советскую чернь, — тут не в счёт, конечно, только один Горький, пропаганда которого с его мировой знаменитостью, с его большими и примитивными литературными способностями, как нельзя более подходящими для вкусов толпы, с огромной силой актёрства, с гомерической лживостью и беспримерной неумомимостью в ней оказала такую страшную преступную помощь большевизму поистине «в планетарном масштабе». И советская Москва не только с великой щедростью, но даже с идиотской чрезмерностью отплатила Маяковскому за все его восхваления её, за всякую помощь ей в деле развращения советских людей, в снижении их нравов и вкусов. Маяковский превознесён в Москве не только как великий поэт. В связи с недавней

двадцатилетней годовщиной его самоубийства московская «Литературная газета» заявила, что «имя Маяковского воплотилось в пароходы, школы, танки, улицы, театры и другие *долгие* дела. Десять пароходов „Владимир Маяковский“ плавают по морям и рекам. „Владимир Маяковский“ было начертано на броне трёх танков. Один из них дошёл до Берлина, до самого рейхстага. Штурмовик „Владимир Маяковский“ разил врага с воздуха. Подводная лодка „Владимир Маяковский“ топила корабли в Балтике. Имя поэта носят: площадь в центре Москвы, станции метро, переулок, библиотека, музеи, район в Грузии, село в Армении, посёлок в Калужской области, горный пик на Памире, клуб литераторов в Ленинграде, улицы в пятнадцати городах, пять театров, три городских парка, школы, колхозы...» (А вот Карлу Либкнехту не повезло: во всей советской России есть всего-навсего один-единственный «Гусиный колхоз имени Карла Либкнехта».) Маяковскому пошло на пользу даже его самоубийство: оно дало повод другому советскому поэту, Пастернаку, обратиться к его загробной тени с намёком на

что-то даже очень возвышенное:

*Твой выстрел был подобен  
Этне в предгорье трусов и трусих!*

Казалось бы, выстрел можно уподоблять не горе, а какому-нибудь её действию, — обвалу, извержению... Но поелику Пастернак считается в советской России да многими и в эмиграции тоже гениальным поэтом, то и выражается он как раз так, как и подобает теперешним гениальным поэтам, и вот ещё один пример тому из его стихов:

*Поэзия, я буду клясться  
тобой и кончу, прохрипев:  
ты не осанка сладкогласца,  
ты лето с местом в третьем  
классе,  
ты пригород, а не припев.*

Маяковский прославился в некоторой степени ещё до Ленина, выделился среди всех тех мошенников, хулиганов, что назывались футуристами. Все его скандальные выходки в ту пору были очень плоски, очень дешёвы, все подобны выходкам Бурлюка, Крученых и прочих. Но он их всех превосходил силой гру-

бости и дерзости. Вот его знаменитая жёлтая кофта и дикарская раскрашенная морда, но сколь эта морда зла и мрачна! Вот он, по воспоминаниям одного из его тогдашних друзей, выходит на эстраду читать свои вирши публике, собравшейся потешиться им: выходит, засунув руки в карманы штанов, с папиросой, зажатой в углу презрительно искривленного рта. Он высок ростом, статен и силён на вид, черты его лица резки и крупны, он читает, то усиливая голос до рёва, то лениво бормоча себе под нос; кончив читать, обращается к публике уже с прозаической речью:

— Желаящие получить в морду благоволят становиться в очередь.

Вот он выпускает книгу стихов, озаглавленную будто бы необыкновенно остроумно: «Облако в штанах». Вот одна из его картин на выставке, — он ведь был и живописец: что-то как попало наляпано на полотне, к полотну приклеена обыкновенная деревянная ложка, а внизу подпись: «Парикмахер ушёл в баню»...

Если бы подобная картина была вывешена где-нибудь на базаре в каком-нибудь самом

захолустном русском городишке, любой прохожий мещанин, взглянув на неё, только покачал бы головой и пошёл дальше, думая, что выкинул эту штуку какой-нибудь дурак наби-тый или помешанный. А Москву и Петербург эта штука всё-таки забавляла, там она считалась «футуристической». Если бы на какой-нибудь ярмарке балаганный шут крикнул толпе становиться в очередь, чтобы получить по морде, его немедля выволокли бы из балагана и самого измордовали бы до бесчувствия. Ну, а русская столичная интеллигенция всё-таки забавлялась Маяковскими и вполне соглашалась с тем, что их выходки называются футуризмом.

В день объявления первой русской войны с немцами Маяковский влезает на пьедестал памятника Скобелеву в Москве и ревёт над толпой патриотическими виршами. Затем, через некоторое время, на нём цилиндр, чёрное пальто, чёрные перчатки, в руках трость чёрного дерева, и он в этом наряде как-то устраивается так, что на войну его не берут. Но вот наконец воцаряется косоглазый, картавый, лысый сифилитик Ленин, начинается

та эпоха, о которой Горький, незадолго до своей насильственной смерти брякнул: «Мы в стране, освещённой гением Владимира Ильича Ленина, в стране, где неумоимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина!» Воцарившись, Ленин, «величайших гений всех времён и народов», как неизменно называет его теперь Москва, провозгласил:

«Буржуазный писатель зависит от денежного мешка, от подкупа. Свободны ли вы, господа писатели, от вашей буржуазной публики, которая требует от вас порнографии в рамках и картинках, проституции в виде „дополнения“ к „святому искусству“ вашему?»

«Денежный мешок, порнография в рамках и картинках, проституция в виде дополнения...» Какой словесный дар, какой убийственный сарказм! Недаром твердит Москва и другое: «Ленин был и величайшим художником слова». Но всего замечательней то, что он сказал вскоре после этого:

«Так называемая „свобода творчества“ есть барский анахронизм. Писатели должны непременно войти в партийные организа-

ции».

И вот Маяковский становится уже неизменным слугою РКП (Российской Коммунистической Партии), начинает буянить в том же роде, как буянил, будучи футуристом: оратор, что «довольно жить законами Адама и Евы», что пора «скинуть с корабля современности Пушкина», затем — меня: твердо сказал на каком-то публичном собрании (по свидетельству Е. Д. Кусковой в её статьях «До и после», напечатанных в прошлом году в «Новом Русском Слове» по поводу моих «Автобиографических заметок»):

«Искусство для пролетариата не игрушка, а оружие. Долой „Буниновщину“ и да здравствуют передовые рабочие круги!»

Что именно требовалось, как «оружие», этим кругам, то есть, проще говоря, Ленину с его РКП, единственной партией, которой он заменил все прочие партийные организации? Требовалась «фабрикация людей с материалистическим мышлением, с материалистическими чувствами», а для этой фабрикации требовалось всё наиболее заветное ему, Ленину, и всем его соратникам и наследни-

кам: стереть с лица земли и оплевать всё прошлое, всё, что считалось прекрасным в этом прошлом, разжечь самое окаянное богохульство, — ненависть к религии была у Ленина совершенно патологическая, — и самую зверскую классовую ненависть, перешагнуть все пределы в беспримерно похабном самохвальстве и прославлении РКП, неустанно воспевать «вождей», их палачей, их опричников, — словом как раз всё то, для чего трудно было найти более подходящего певца, «поэта», чем Маяковский с его злобной, бесстыдной, каторжно-бессердечной натурой, с его площадной глоткой, с его поэтичностью ломовой лошади и заборной бездарностью даже в тех дубовых виршах, которые он выдавал за какой-то новый род якобы стиха, а этим стихом выразить всё то гнусное, чему он был столь привержен, и все свои лживые восторги перед РКП и её главарями, свою преданность им и ей. Ставши будто бы яростным коммунистом, он только усилил и развил до крайней степени всё то, чем добывал себе славу, будучи футуристом, ошеломляя публику грубостью и пристрастием ко всякой мерзости. Он

наливал звезды «плевочками», он, рассказывая в своих ухабистых виршах о своём путешествии по Кавказу, сообщил, что сперва поплевал в Терек, потом поплевал в Арагву; он любил слова ещё более гадкие, чем плевочки, — писал, например, Есенину, что его, Есенина, имя публичкой осоплено, над Америкой, в которой он побывал впоследствии, издевался в том же роде:

*Мамаша  
грудь  
ребёнку дала.  
Ребёнок,  
с каплями на носу,  
сосёт  
как будто  
не грудь, а доллар —  
занят серьезным бизнесом.*

Он любил слова «блевотина», — писал (похоже, что о самом себе):

*Бумаги  
гладь  
облёвывает  
пером,  
концом губы поэт,*

*как блядь рублёвая.*

Подобно Горькому, будто бы ужасно ненавидевшему золото, — Горький уже много лет тому назад свирепо назвал Нью-Йорк «Городом Жёлтого Дьявола», то есть золота, — он, Маяковский, золото тоже должен был ненавидеть, как это полагается всякому прихлебателю РКП, и потому писал:

*Пока  
доллар  
всех поэм родовей,  
лапя,  
хапая,  
выступает,  
порфиру надев, Бродвей:  
капитал —  
его препохабие!*

Горький посетил Америку в 1906 году, Маяковский через двадцать лет после него — и это было просто ужасно для американцев: я недавно прочёл об этом в московской «Литературной газете», в почтенном органе Союза советских писателей, там в статье какого-то Атарова сказано, что на его столе лежит «удивительная, подлинно великая книга прозы и

стихов Маяковского об Америке, что книга эта плод пребывания Маяковского в Нью-Йорке» и что после приезда его туда «у американских мастеров бизнеса были серьезные причины тревожиться: в их страну приехал великий поэт революции!»

С какой же силой, с какой он устрасил и разоблачил Америку, он воспевал РКП:

*Мы  
не с мордой, опущенной вниз,  
мы — в новом, грядущем быту,  
помноженном на электричество  
и коммунизм...  
Поэтом не быть мне бы,  
если б  
не это пел:  
в звездах пятиконечных небо  
безмерного свода РКП.*

Что совершалось под этим небом в пору писаний этих виршей? Об этом можно было прочесть даже и в советских газетах:

«3-го июня на улицах Одессы подобрано 142 трупа умерших от голода, 5-го июня — 187. Граждане! Записывайтесь в трудовые артели по уборке трупов!»

«Под Самарой пал жертвой людоедства бывший член Государственной Думы Крылов, врач по профессии: он был вызван в деревню к больному, но по дороге убит и съеден».

В ту же пору так называемый «Всероссийский Староста» Калинин посетил юг России и тоже вполне откровенно засвидетельствовал:

«Тут одни умирают от голода, другие хоронят, стремясь использовать в пищу мягкие части умерших».

Но что до того было Маяковским, Демьянам и многим, многим прочим из их числа, жравшим «на полный рот», носившим шёлковое бельё, жившим в самых знаменитых «Подмосковных», в московских особняках прежних московских миллионеров! Какое дело было Владимиру Маяковскому до всего того, что вообще свершалось под небом РКП? Какое небо, кроме этого неба, мог он видеть? Разве не сказано, что «свинье неба вовеки не видать»? Под небом РКП при начале воцарения Ленина ходил по колено в крови «революционный народ», затем кровопролитием занялся Феликс Эдмундович Дзержинский и его соподвижники. И вот Владимир Маяков-

ский превзошёл в те годы даже самых отъявленных советских злодеев и мерзавцев. Он писал:

*Юноше, обдумывающему житье,  
решающему —  
сделать бы жизнь с кого,  
скажу, не задумываясь:  
делай её  
с товарища Дзержинского!*

Он, призывая русских юношей идти в па-  
лачи, напоминал им слова Дзержинского о са-  
мом себе, совершенно бредовые в устах из-  
верга, истребившего тысячи и тысячи жиз-  
ней:

«Кто любит жизнь так сильно, как я, тот  
отдаёт свою жизнь за других».

А наряду с подобными призывами не забы-  
вал Маяковский славословить и самих твор-  
цов РКП, — лично их:

*Партия и Ленин —  
кто более  
матери истории ценен?*

*Я хочу,  
чтоб к штыку*

*приравняли перо.*

*С чугуном чтоб  
и с выделкой стали  
о работе стихов  
от Политбюро  
чтобы делал доклады Сталин.*

И вот слава его, как великого поэта, всё растёт и растёт, поэтические творения его издаются «громадными тиражами по личному приказу из Кремля», в журналах платят ему за каждую строчку даже в одно слово гонорары самые что ни на есть высокие, он то и дело вояжирует в «гнусные» капиталистические страны, побывал в Америке, несколько раз приезжал в Париж и каждый раз имел в нём довольно долгое пребывание, заказывал бельё и костюмы в лучших парижских домах, рестораны выбирал тоже наиболее капиталистические, но «поплеывал» и в Париже, — заявил с томной брезгливостью пресыщенного пшюта:

*Я не люблю  
парижскую любовь —  
любую самочку*

*шелками разукрасьте,  
потягиваясь, задремлю,  
сказав «тубо»  
собакам озверевшей страсти.*

«Большим поэтом» окрестил его, кажется, раньше всех Горький: пригласил его к себе на дачу в Мустамяки, чтобы он прочитал у него в небольшом, но весьма избранном обществе свою поэму «Флейта-Позвоночник», и когда Маяковский кончил эту поэму, со слезами пожал ему руку:

— Здорово, сильно... Большой поэт!

А всего несколько лет тому назад прочитал я в журнале «Новоселье», издававшемся тогда ещё в Нью-Йорке, нечто уже совершенно замечательное:

«Потуги вычеркнуть Маяковского из русской и всемирной литературы отброшены последними годами в далёкое архивное прошлое».

Это начало статейки, напечатанной в «Новоселье» г-ном Романом Якобсоном, очень видным славистом, весьма известным своими работами по изучению «Слова о Полку Игореве», — он, русский по происхождению,

когда-то учившийся в одной гимназии с Маяковским в Москве, был сперва профессором в Праге, затем в Нью-Йорке и наконец получил кафедру в Харвардском университете, лучшим в Америке.

Не знаю, кто «тужился» развенчать Маяковского, — кажется, никто. И вообще г. Роман Якобсон напрасно беспокоится: относительно всемирной литературы он, конечно, слегка зарпортовался, рядом со «Словом о Полку Игореве» творения Маяковского навряд будут в ней, но в будущей свободной истории русской литературы Маяковский будет, без сомнения, помянут достойно.

## «Третий Толстой»

«Третий Толстой» — так нередко называют в Москве недавно умершего там автора романов «Петр Первый», «Хождение по мукам», многих комедий, повестей и рассказов, известного под именем графа Алексея Николаевича Толстого: называют так потому, что были в русской литературе ещё два Толстых — граф Алексей Константинович Толстой, поэт и автор романа из времён царя Ивана Грозного «Князь Серебряный», и граф Лев Николаевич Толстой. Я довольно близко знал этого Третьего Толстого в России и в эмиграции. Это был человек во многих отношениях замечательный. Он был даже удивителен сочетанием в нём редкой личной безнравственности (ни чуть не уступавшей, после его возвращения в Россию из эмиграции, [51] безнравственности его крупнейших соратников на поприще служения советскому Кремлю) с редкой талантливостью всей его натуры, наделённой к тому же большим художественным даром. Написал он в этой «советской» России, где только чекисты друг с дру-

гом советуются, особенно много и во всех родах, начавши с площадных сценариев о Распутине, об интимной жизни убиенных царя и царицы, написал вообще не мало такого, что просто ужасно по низости, пошлости, но даже и в ужасном оставаясь талантливым. Что до большевиков, то они чрезвычайно гордятся им не только как самым крупным «советским» писателем, но ещё и тем, что был он всё-таки граф, да ещё Толстой. Недаром «сам» Молотов сказал на каком-то «Чрезвычайном восьмом съезде Советов»:

«Товарищи! Передо мной выступал здесь всем известный писатель Алексей Николаевич Толстой. Кто не знает, что это бывший граф Толстой! А теперь? Теперь он товарищ Толстой, один из лучших и самых популярных писателей земли советской!»

Последние слова Молотов сказал тоже недаром: ведь когда-то Тургенев назвал Льва Толстого «великим писателем земли русской».

В эмиграции, говоря о нём, часто поминали его то пренебрежительно, Алешкой, то снисходительно и ласково, Алёшей, и почти

все набавлялись им: он был весёлый, интересный собеседник, отличный рассказчик, прекрасный чтец своих произведений, восхижительный в своей откровенности циник; был наделён немалым и очень зорким умом, хотя любил прикидываться дураковатым и беспечным шалопаем, был ловкий рвач, но и щедрый мот, владел богатым русским языком, всё русское знал и чувствовал, как очень немногие... Вёл он себя в эмиграции нередко и впрямь «Алёшкой», хулиганом, был частым гостем у богатых людей, которых за глаза называл сволочью, и все знали это и всё-таки прощали ему: что ж, мол, взять с Алёшки! По наружности он был породист, рослый, плотный, бритое полное лицо его было женственно, пенсне при слегка откинутой голове весьма помогало ему иметь в случаях надобности высокомерное выражение; одет и обут он был всегда дорого и добротнo, ходил носками внутрь, — признак натуры упорной, настойчивой, — постоянно играл какую-нибудь роль, говорил на множество ладов, всё меняя выражение лица, то бормотал, то кричал тонким бабьим голосом, иногда, в каком-нибудь

«салоне», суюсуюкал, как великосветский фат, хохотал чаще всего как-то неожиданно, удивленно, выпучивая глаза и давясь, крякал, ел и пил много и жадно, в гостях напивался и объедался, по его собственному выражению, до безобразия, но проснувшись, на другой день, тотчас обматывал голову мокрым полотенцем и садился за работу: работник был он первоклассный.

Был ли он действительно графом Толстым? Большевики народ хитрый, они дают сведения о его родословной двусмысленно, неопределенно, — например, так:

«А. Н. Толстой родился в 1883 году, в бывшей Самарской губернии, и детство провёл в небольшом имении второго мужа его матери, Алексея Бострома, который был образованным человеком и материалистом...»

Тут без хитрости сказано только одно: «родился в 1883 году, в бывшей Самарской губернии...» Но где именно? В имении графа Николая Толстого или Бострома? Об этом ни слова, говорится только о том, где прошло его детство. Кроме того, полным молчанием обходится всегда граф Николай Толстой, так, точ-

но он и не существовал на свете: полная неизвестность, что за человек он был, где жил, чем занимался, виделся ли когда-нибудь хоть раз в жизни с тем, кто весь свой век носил его имя, а от его титула отрекся только тогда, когда возвратился из эмиграции в Россию. Сам он за все годы нашего с ним приятельства и при той откровенности, которую он так часто проявлял по отношению ко мне, тоже никогда, ни единым звуком не обмолвился о графе Николае Толстом... За всем тем касаюсь я его родословной только по той причине, что, до своего возвращения в Россию, он постоянно козырял своим титулом, спекулировал им и в литературе и в жизни. Страсть ко всяческим житейским благам и к приобретению их настолько велика была у него, что возвратившись в Россию, он в угоду Кремлю и советской черни тотчас принялся не только за писание гнусных сценариев, но и за сочинения на тех самых буржуев, которых он объедал, опивал, обирал «в долг» в эмиграции, и за нелепейшие измышления о каких-то зверствах, которыми будто бы занимались в Париже русские белогвардейцы.

Совершенно правильны, вероятно, сведения о том, когда он родился и где прошло его детство. Но что было дальше? По свидетельству его советских биографий, снабженных его собственными автобиографическими показаниями, было вот что:

«В 1905 году, во время первой русской революции, Толстой писал революционные стихи. В следующем году, когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь, выпустил декадентскую книжку стихов, которую потом скупал и сжигал. Он чувствовал, что к старому возврата нет...»

Тут начинается уже махровая и очень неуклюжая ложь. Весьма непонятно: писал в 1905 году революционные стихи — и вдруг выпустил всего через год после того и как раз тогда, «когда царские сатрапы превращали всю страну в тюремный лагерь», нечто столь неподходящее ко времени, «декадентскую книжку стихов», которую потом будто бы стал скупать и жечь!

Однако даже и такие биографические сведения ничто перед тем, что следует дальше:

«Первая мировая война поставила перед

Толстым массу новых вопросов и мучительных загадок...»

Поистине только в Москве можно лгать так глупо! Толстой — и «масса» вопросов, да ещё «новых»! Значит, и прежде осаждала его, несчастного, «масса» каких-то вопросов. А тут явились ещё и новые, а кроме того, и «мучительные загадки». Лично я не раз бывал свидетелем того, как мучили его вопросы и загадки, где бы, у кого бы сорвать ещё что-нибудь «в долг» на портного, на обед в ресторане, на плату за квартиру; но иных что-то не помню.

«В великую Октябрьскую революцию Толстой растерялся... Уехал в Одессу, зиму прожил там. Весною 1919 г. уехал в Париж. О жизни в эмиграции он сам написал в своей автобиографии так: „Это был самый тяжёлый период в моей жизни...“ В 1921 году он уехал из Парижа в Берлин и вошёл в группу сменовеховцев. Вернувшись на родину, написал ряд произведений о белых эмигрантах, о совершенном одичании белогвардейцев, о своей эмигрантской тоске в Париже... Его разочаровало предсмертное веселье парижских кабаков, кошмары белогвардейских расстрелов

и расправ... Он писал на родине ещё и сатирические картины нравов капиталистической Америки, о которых гениально писал и великий советский поэт Маяковский...»

Где всё это напечатано? И на потеху кому? Напечатано в Москве, в одном из главнейших советских ежемесячных журналов, в журнале «Новый Мир», где сотрудничают знатнейшие советские писатели. И вот сидишь в Париже и читаешь: «Совершенное одичание белогвардейцев... Кошмары белогвардейских расправ и расстрелов...» Но отчего же это так страшно одичали белогвардейцы больше всего в Париже? И с кем именно они расправлялись и кого расстреливали? И почему французское правительство смотрело сквозь пальцы на эти парижские кошмары? Довольно странно и «предсмертное» веселье парижских кабаков, разочаровавшее Толстого, который, очевидно, был всё-таки очарован им некоторое время: странно потому, что ведь вот уж сколько лет прошло с тех пор, как он разочаровался, и от белогвардейских кошмаров решил бежать в Россию, где теперь никакие сатрапы не превращают её в тюремный

лагерь, где никто ни с кем не расправляется, никого не расстреливают, а Париж всё ещё существует, не вымер, несмотря на своё «предсмертное» веселье во времена пребывания в нём Толстого, и дошёл в наши дни даже до гомерического разврата в веселье и роскоши: так по крайней мере утверждает некто Юрий Жуков, парижский корреспондент Москвы, напечатавший в другом московском ежемесячнике, в журнале «Октябрь», статью под заглавием «На западе после войны»: этот Жуков сообщает, что по Большим парижским бульварам то и дело проходят францисканские монахи, от которых на километр разит самыми дорогими духами, и с утра до вечера «фланируют завитые и напوماженные молодые люди и дамы в самых умопомрачительных нарядах». Этот Жуков и про меня зачем-то солгал: будто я «маленький, сухонький, со скрипучим голосом и с лицом рафинированного эстета». Когда-то в России говорили: «Врёт как сивый мерин». Далекие наивные времена! Теперь, после тридцатилетнего, неустанного, ежедневного упражнения «Советов» во лжи, даже самый жалкий советский Жуков сто оч-

ков даёт вперед любому сивому мерину! Сам Толстой, конечно, помирал со смеху, пиша свою автобиографию, говоря о своей эмигрантской тоске, о тех кошмарах, которые он будто бы переживал в Париже, а во время «первой русской революции» и первой мировой войны «массу» всяческих душевных и умственных терзаний, и о том, как он растерялся и бежал из Москвы в Одессу, потом в Париж... Он врал всегда беззаботно, легко, а в Москве, может быть, иногда и с надрывом, но, думаю, явно актёрским, не доводя себя до той истерической «искренности лжи», с какой весь свой век чуть ли ни рыдал Горький.

Я познакомился с Толстым как раз в те годы, о которых (скорбя по случаю провала «первой революции») так трагически декламировал Блок: «Мы — дети страшных лет России — забыть не можем ничего!» — в годы между этой первой революцией и первой мировой войной. Я редактировал тогда беллетристику в журнале «Северное сияние», который затеяла некая общественная деятельница, графиня Варвара Бобринская. И вот в редакцию этого журнала явился однажды рос-

лый и довольно красивый молодой человек, церемонно представился мне («граф Алексей Толстой») и предложил для напечатания свою рукопись под заглавием «Сорочьи сказки», ряд коротеньких и очень ловко сделанных «в русском стиле», бывшем тогда в моде, пустяков. Я, конечно, их принял, они были написаны не только ловко, но и с какой-то особой свободой, непринуждённостью (которой всегда отличались все писания Толстого). Я с тех пор заинтересовался им, прочёл его «декадентскую книжку стихов», будто бы уже давно сожженную, потом стал читать все прочие его писания. Тут-то мне и открылось впервые, как разнообразны были они, — как с самого начала своего писательства проявил он великое умение поставлять на литературный рынок только то, что шло на нём ходко, в зависимости от тех или иных меняющихся вкусов и обстоятельств. Революционных стихов его я никогда не читал, ничего не слышал о них и от самого Толстого: может быть, он пробовал писать и в этом роде, в честь «первой революции», да скоро бросил — то ли потому, что уже слишком скучен показался ему этот род,

то ли по той простой причине, что эта революция довольно скоро провалилась, хотя и успели русские мужички-«богоносцы» сжечь и разграбить множество дворянских поместий. Что до «декадентской» его книжки, то я её читал и, насколько помню, ничего декадентского в ней не нашел; сочиняя ее, он тоже следовал тому, чем тоже увлекались тогда: стилизацией всего старинного и сказочного русского. За этой книжкой последовали его рассказы из дворянского быта, тоже написанные во вкусе тех дней: шарж, нарочитая карикатурность, нарочитые (да и не нарочитые) нелепости. Кажется, в те годы написал он и несколько комедий, приспособленных к провинциальным вкусам и потому очень выигрышных. Он, повторяю, приспособлялся очень находчиво. Он даже свой роман «Хожение по мукам», начатый печатанием в Париже, в эмиграции, в эмигрантском журнале, так основательно приспособил впоследствии, то есть возвратясь в Россию, к большевицким требованиям, что все «белые» герои и героини романа вполне разочаровались в своих прежних чувствах и поступках и стали заяд-

лыми «красными». Известно, кроме того, что такое, например, его роман «Хлеб», написанный для прославления Сталина, затем фантастическая чепуха о каком-то матросе, который попал почему-то на Марс и тотчас установил там коммуны, затем пасквильная повесть о парижских «акулах капитализма» из русских эмигрантов, владельцев нефти, под заглавием «Черное золото»... Что такое его «Сатирические картины нравов капиталистической Америки», я не знаю. Никогда не бывши в Америке, он, должно быть, осведомился об этих нравах у таких знатоков Америки, как Горький, Маяковский... Горький съездил в Америку еще в 1906 году и с присущей ему дубовой высокопарностью и мерзким безвкусицей назвал Нью-Йорк «Городом Желтого Дьявола», то есть золота, будто бы бывшего всегда ненавистным ему, Горькому. Горький дал такую картину этого будто бы «дьявольского города»:

«Это — город, это — Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий

ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа. Улицы его — это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги — огромные черви; локомотивы — жирные утки...»

После нашего знакомства в «Северном сиянии» я не встречался с Толстым года два или три: то путешествовал с моей второй женой по разным странам вплоть до тропических, то жил в деревне, а в Москве и в Петербурге бывал мало и редко. Но вот однажды Толстой неожиданно нанёс нам визит в той московской гостинице, где мы останавливались, вместе с молодой черноглазой женщиной типа восточных красавиц, Соней Дымшиц,[52] как называли её все, а сам Толстой неизменно так: «Моя жена, графиня Толстая». Дымшиц была одета изящно и просто, а Толстой каким-то странным важным барином из провинции: в цилиндре и в огромной медвежьей шубе. Я встретил их с любезностью, подобающей случаю, раскланялся с графиней и, не удержавшись от улыбки, обратился к графу.

— Очень рад возобновлению нашего зна-

комства, входите, пожалуйста, снимайте свою великолепную шубу...

И он небрежно пробормотал в ответ:

— Да, наследственная, остатки прежней роскоши, как говорится...

И вот эта-то шуба, может быть, и была причиной довольно скорого нашего приятельства; граф был человек ума насмешливого, юмористического, наделённый чрезвычайно живой наблюдательностью, поймал, вероятно, мою невольную улыбку и сразу сообразил, что я не из тех, кого можно дурачить. К тому же он быстро дружился с подходящими ему людьми и потому после двух, трёх следующих встреч со мной уже смеялся, крякал над своей шубой, признавался мне:

— Я эту наследственность за грош купил по случаю, её мех весь в гнусных лысынах от моли. А ведь какое барское впечатление производит на всех!

Говоря вообще о важности одежды, он морщился, поглядывая на меня:

— Никогда ничего путного не выйдет из вас в смысле житейском, не умеете вы себя подавать людям! Вот как, например, невыгод-

но одеваются вы. Вы худы, хорошего роста, есть в вас что-то старинное, портретное. Вот и следовало бы вам отпустить длинную узкую бородку, длинные усы, носить длинный сюртук, в талию, рубашки голландского полотна с таким артистически раскинутым воротом, подвязанным большим бантом чёрного шёлка, длинные до плеч волосы на прямой ряд, отрастить чудесные ногти, украсить указательный палец правой руки каким-нибудь загадочным перстнем, курить маленькие гаванские сигаретки, а не пошлые папиросы... Это мошенничество, по-вашему? Да кто ж теперь не мошенничает так или иначе, между прочим и наружностью! Ведь вы сами об этом постоянно говорите! И правда — один, видите ли, символист, другой — марксист, третий — футурист, четвертый — будто бы бывший босяк... И все наряжены: Маяковский носит женскую жёлтую кофту, Андреев и Шалапин — поддевки, русские рубахи навыпуск, сапоги с лаковыми голенищами, Блок бархатную блузу и кудри... Все мошенничают, дорогой мой!

Переселившись в Москву и снявши квар-

тиру на Новинском бульваре, в доме князя Щербатова, он в этой квартире повесил несколько старых, чёрных портретов каких-то важных стариков и с притворной небрежностью бормотал гостям: «Да, всё фамильный хлам», — а мне опять со смехом: «Купил на толкучке у Сухаревой башни!»

Так с самого начала захвата большевиками власти в октябре семнадцатого года были мы с ним в мирных приятельских отношениях, но потом два раза поссорились. Жить стало уже очень трудно, начинался голод, питаться мало-мальски сносно можно было только при больших деньгах, а зарабатывать их — подлостью. И вот объявилась в каком-то кабаке какая-то «Музыкальная табакерка» — сидят спекулянты, шулера, публичные девки и жрут пирожки по сто целковых штука, пьют какое-то мерзкое подобие коньяка, а поэты и беллетристы (Толстой, Маяковский, Брюсов и прочие) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные, произнося все заборные слова полностью. Толстой осмелился предложить читать и мне, я обиделся, и мы поругались. А затем появи-

лось в печати произведение Блока «Двенадцать». Блок, как стало известно впоследствии, когда были опубликованы его дневники, писал незадолго до «февральской революции» так:

«Мятеж лиловых миров стихает. Скрипки, хвалившие призрак, обнаруживают свою истинную природу. И в разреженном воздухе горький запах миндаля. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный катафалк, а на нём лежит мертвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз...»

И ещё так, столь же дьявольски поэтично:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут даже и для Блока всё-таки определи-

лись вскоре цвет и запах нового шквала, хотя и раньше не требовалось для этого особо зоркого зрения и обоняния. Тут царский период русской истории кончился (при доброй помощи солдат петербургского гарнизона, не желавших идти на фронт), власть перешла к Временному Правительству, все царские министры были арестованы, посажены в Петропавловскую крепость, и Временное Правительство почему-то пригласило Блока в «Чрезвычайную Комиссию» по расследованию деятельности этих министров, и Блок, получая 600 рублей в месяц жалованья, — сумму в то время ещё значительную, — стал ездить на допросы, порой допрашивал и сам и непристойно издевался в своем дневнике, как это стало известно впоследствии, над теми, кого допрашивали. А затем произошла «Великая октябрьская революция», большевики посадили в ту же крепость уже министров Временного Правительства, двух из них (Шингарева и Кокошкина) даже убили, без всяких допросов, и Блок перешёл к большевикам, стал личным секретарем Луначарского, после чего написал брошюру «Интеллиген-

ция и Революция», стал требовать: «Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочинил «Двенадцать», написав и своем дневнике для потомства очень жалкую выдумку: будто он сочинял «Двенадцать» как бы в трансе, «все время слыша какие-то шумы — шумы падения старого мира». Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошёл и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом слышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Я взял текст «Двенадцати» и, перелистывая его, сказал приблизительно так:

— Господа, вы знаете, что происходит в России на позор всему человечеству вот уже целый год. Имени нет тем бессмысленным зверствам, которые творит русский народ с начала февраля прошлого года, с февральской революции, которую всё ещё называют совер-

шенно бесстыдно «бескровной». Число убитых и замученных людей, почти сплошь ни в чём не повинных, достигло, вероятно, уже миллиона, целое море слёз вдов и сирот заливает русскую землю. Убивают все, кому не лень; солдаты, всё ещё бегущие с фронта ошалелой ордой, мужики в деревнях, рабочие и всякие прочие революционеры в городах. Солдаты, ещё в прошлом году поднимавшие на штыки офицеров, всё ещё продолжают убийства, бегут домой захватывать и делить землю не только помещиков, но и богатых мужиков, по пути разрушают всё, что можно, убивают железнодорожных служащих, начальников станций, требуя от них поездов, локомотивов, которых у тех нет... Из нашей деревни пишут мне, например, такое: мужики, разгромивши одну помещичью усадьбу, оципали, оборвали для потехи перья с живых павлинов и пустили их, окровавленных, летать, метаться, тыкаться с пронзительными криками куда попало. В апреле прошлого года я был в имении моей двоюродной сестры в Орловской губернии[53] и там мужики, запаливши однажды утром соседнюю усадьбу,

хотели меня, прибежавшего на пожар, бросить в огонь, в горевший вместе с живой скотиной скотный двор: огромный пьяный солдат дезертир, бывший в толпе мужиков и баб возле этого пожара, стал орать, что это я зажёл скотный двор, чтобы сгорела вся деревня, прилегавшая к усадьбе, и меня спасло только то, что я стал ещё бешеней орать на этого мерзавца матерщиной, и он растерялся, а за ним растерялась и вся толпа, уже наседавшая на меня, и я, собрав все силы, чтобы не обернуться, вышел из толпы и ушёл от неё. А вот на днях прибежал из Симферополя всем вам известный Н., — я назвал точно его фамилию, — и говорит, что в Симферополе рабочие и дезертиры ходят буквально по колена в крови, живьём сожгли в паровозной топке какого-то старенького отставного военного. Не странно ли вам, что в такие дни Блок кричит на нас:

«Слушайте, слушайте музыку революции!» и сочиняет «Двенадцать», а в своей брошюре «Интеллигенция и Революция» уверяет нас, что русский народ был совершенно прав, когда в прошлом октябре стрелял по соборам в

Кремле, доказывая эту правоту такой ужасающей ложью на русских священнослужителей, которой я просто не знаю равной: «В этих соборах, говорит он, толстопузый поп целые столетия водкой торговал, икая». Что до «Двенадцати», то это произведение и впрямь изумительно, но только в том смысле, до чего оно дурно во всех отношениях. Блок нестерпимо поэтичный поэт, у него, как у Бальмонта, почти никогда нет ни одного словечка в простоте, всё сверх всякой меры красиво, красноречиво, он не знает, не чувствует, что высоким стилем все можно опощлить. Но вот после великого множества нарочито загадочных, почти сплошь совершенно никому непонятных, литературно выдуманых символических, мистических стихов, он написал наконец нечто уж слишком понятное. Ибо уж до чего это дешевый, плоский трюк: он берет зимний вечер в Петербурге, теперь особенно страшном, где люди гибнут от холода, от голода, где нельзя выйти даже днём на улицу из боязни быть ограбленным и раздетым догола, и говорит: вот смотрите, что творится там сейчас пьяной, буйной солдатней, но ведь в

конце концов все её деяния святы разгульным разрушением прежней России и что впереди неё идёт Сам Христос, что это Его апостолы:

*Товарищ, винтовку держи не  
трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую Русь,  
В кондовую,  
В избяную,  
В толстозадую!*

Почему Святая Русь оказалась у Блока избяной да ещё и толстозадой? Очевидно, потому, что большевики, лютые враги народников, все свои революционные планы и надежды поставившие не на деревню, не на крестьянство, а на подонки пролетариата, на кабацкую голь, на босяков, на всех тех, кого Ленин пленил полным разрешением «грабить награбленное». И вот Блок пошло издевается над этой избяной Русью, над Учредительным Собранием, которое они обещали народу до октября, но разогнали, захватив власть, над «буржуем», над обывателем, над священником:

*От здания к зданию  
На канате — плакат:  
«Вся власть Учредительному Со-  
бранию!»  
А вот и он долгополый —  
Что нынче невесёлый,  
Товарищ поп?  
Вон барыня в каракуле —  
Поскользнулась  
И — бац — растянулась!*

«Двенадцать» есть набор стишков, частушек, то будто бы трагических, то плясовых, а в общем претендующих быть чем-то в высшей степени русским, народным. И всё это прежде всего чертовски скучно бесконечной болтливостью и однообразием всё одного и того же разнообразия, надоедает несметным ай, ай, эх, эх, ах, ах, ой, трата-та, трахтахтах... Блок задумал воспроизвести народный язык, народные чувства, но вышло нечто совершенно лубочное, неумелое, сверх всякой меры вульгарное:

*Буржуй на перекрёстке  
В воротник упрятал нос...  
Стоит буржуй, как пёс голодный,  
Стоит безмолвный, как вопрос,*

*И старый мир, как пёс безродный,  
Стоит за ним, поджавши хвост...  
Свобода, свобода,  
Ээ, эх, без креста!  
Тратата!  
А Ванька с Катькой в кабаке,  
У ей керенки есть в чулке!  
Ну, Ванька, сукин сын, буржуй,  
Мою попробуй поцелуй!  
Катька с Ванькой занята —  
Чем, чем занята?  
Снег крутит, лихач кричит,  
Ванька с Катькою летит —  
Електрический фонарик  
На оглобелях...  
Ах, ах, пади!*

Это ли не народный язык? «Е л е к т р и ч е с к и й»! Попробуй-ка произнести! И совершенно смехотворная нежность к оглоблям, — «оглобелки», — очевидно, тоже народная. А дальше нечто ещё более народное:

*Ах ты Катя, моя Катя,  
Толстоморденькая!  
Гетры серые носила,  
Шоколад Миньон жрала,  
С юнкерём гулять ходила,  
С солдатём теперь пошла?*

История с этой Катькой кончается убийством её и истерическим раскаянием убийцы, какого-то Петрухи, товарища какого-то Андриюхи:

*Опять навстречу несётся вскачь,  
Летит, вопит, орёт лихач...  
Стой, стой! Андрюха, помогай,  
Петруха, сзади забегай!  
Трахтахтахтах!  
Что, Катька, рада? — Ни гугу!  
Лежи ты, падаль, на снегу!  
Эх, ах.  
Позабавиться не грех!  
Ты лети, буржуй, воробышком,  
Выпью кровушку  
За зазнобушку.  
Чернобровушку!  
И опять идут двенадцать,  
За плечами ружьеца,  
Лишь у бедного убийцы  
Не видать совсем лица!*

Бедный убийца, один из двенадцати Христовых апостолов, которые идут совершенно неизвестно куда и зачем, и из числа которых мы знаем только Андриюху и Петруху, уже ревет, рыдает, раскаивается, — ведь уж так все-

гда полагается, давно известно, до чего русская преступная душа любит раскаиваться:

*Ох, товарищи родные,  
Эту девку я любил.  
Ночки чёрные, хмельные,  
С этой девкой проводил!*

«Ты лети, буржуй, воробышком», — опять буржуй и уж совсем ни к селу, ни к городу, буржуй никак не был виноват в том, что Катька была с Ванькой занята, — а дальше коровушка, зазнобушка, чернобровушка, ночки черные, хмельные — от этого то заборного, то сусального русского стиля с несметными восклицательными знаками начинает уже тошнить, но Блок не унимается:

*Из-за удали бедовой  
В огневых её очах,  
Из-за родинки пунцовой  
Возле правого плеча,  
Загубил я, бестолковый  
Загубил я сгоряча...  
Ах!*

В этой архирусской трагедии не совсем ладно одно: сочетание толстой морды Катеньки с «бедовой удалью её огневых очей». По-

моему, очень мало идут огневые очи к толстой морде. Не совсем кстати и «пунцовая родинка», — ведь не такой уж изысканный ценитель женских прелестей был Петруха!

А «под занавес» Блок дурачит публику уж совсем галиматъей, сказал я в заключение. Увлёкшись Катькой, Блок совсем забыл свой первоначальный замысел «пальнуть в Святую Русь» и «пальнул» в Катьку, так что история с ней, с Ванькой, с лихачами оказалась главным содержанием «Двенадцати». Блок опомнился только под конец своей «поэмы» и, чтобы поправиться, понёс что попало: тут опять «державный шаг» и какой-то голодный пёс — опять пёс! — и патологическое кощунство: какой-то сладкий Иисусик, пляшущий (с кровавым флагом, а вместе с тем в белом венчике из роз) впереди этих скотов, грабителей и убийц:

Так идут державным шагом —  
Позади — голодный пёс,  
Впереди — с кровавым флагом,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз —

Впереди — Иисус Христос!

Как ни вспомнить, сказал я, кончая, того, что говорил Фауст, которого Мефистофель привёл в Кухню Ведьм:

*Кого тут ведьма за нос водит?  
Как будто хором чушь городит  
Сто сорок тысяч дураков!*

Вот тогда и закатил мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня, как театрально завопил, что он никогда не простит мне моей речи о Блоке, что он, Толстой, — большевик до глубины души, а я ретроград, контрреволюционер и т. д.

Довольно странно было и другое знаменитое произведение Блока о русском народе под заглавием «Скифы», написанное («созданное», как неизменно выражаются его поклонники) тотчас после «Двенадцати». Сколько было противоречивых любовных воплей Блока: «О, Русь моя, жена моя», и олеографического «узорного платка до бровей»! Но вот наконец весь русский народ, точно в угоду косоглазому Ленину, объявлен азиатом «с раско-

сыми и жадными очами». Тут, обращаясь к европейцам, Блок говорит от имени России не менее заносчиво, чем говорил от её имени, например, Есенин («кометой вытяну язык, до Египта раскорячу ноги»), и день и ночь говорит теперь Кремль не только всей Европе, но и Америке, весьма помогшей «скифам» спастись от Гитлера:

*Мильоны — вас. Нас — тьмы, и  
тьмы, и тьмы.  
Попробуйте сразиться с нами!  
Да, скифы мы! Да, азиаты — мы  
С раскосыми и жадными очами!*

*Вы сотни лет глядели на Восток,  
Копя и плавя наши перла,  
И вы, глумясь, считали только  
срок,  
Когда наставит пушек жерла!*

*Да, так любить, как любит наша  
кровь,  
Никто из вас давно не любит!  
Забыли вы, что в мире есть лю-  
бовь,  
Которая и жжет и губит.*

*Мы любим плоть — и вкус её, и  
цвет,  
И душный, смертный, плоти за-  
пах...  
Виновны ль мы, коль хрустнет  
ваш скелет  
В тяжёлых, нежных наших ла-  
пах?*

*Привыкли мы, хватая под узцы  
Играющих коней ретивых,  
Ломать коням тяжёлые крест-  
цы  
И усмирять рабынь стропти-  
вых...*

В этих комических угрозах, в этой литера-  
турщине, которой я привожу лишь часть,  
есть, конечно, совсем непонятное, что значит,  
например, «копя и плавя наши перла»? Всё  
остальное что ни слово, то золото: тьмы азиа-  
тов, раскосые и жадные очи, вкус и смертный  
запах плоти, тяжёлые, нежные лапы, хрустя-  
щие людские скелеты и даже ломаемые кон-  
ские крестцы, хотя ломать их за игривость ко-  
пей есть дело не только злое и глупое, но и со-  
вершенно невозможное физически, так что

уж никак нельзя понять, почему именно «привыкли мы» к этому. «Скифы» — грубая подделка под Пушкина («Клеветникам России»). Не оригинально и самохвальство «Скифов»: это ведь наше исконное: «Шапками закидаем!» (иначе говоря: нас тьмы, и тьмы, и тьмы). Но что всего замечательнее, так это то, что как раз во время создания «Скифов» уже окончательно и столь позорно, как никогда за всё существование России, развалилась вся русская армия, защищавшая её от немцев, и поистине «тьмы и тьмы скифов», будто бы столь грозных и могучих, — «Попробуйте сразиться с нами!» — удирали с фронта во все лопатки, а всего через месяц после того был подписан большевиками в Брест-Литовске знаменитый «похабный мир»...

Мы с женой в конце мая того года уехали из Москвы в Одессу довольно законно:[54] за год до февральской революции я оказал большую услугу некоему приват-доценту Фриче, литератору, читавшему где-то лекции, ярому социал-демократу, спас его ходатайством перед московским градоначальником от высылки из Москвы за его подпольные революци-

онные брошюрки, и вот, при большевиках, этот Фриче стал кем-то вроде министра иностранных дел, и я, явившись однажды к нему, потребовал, чтобы он немедленно дал нам пропуск из Москвы (до станции Орша, за которой находились области оккупированные), и он, растерявшись, не только поспешил дать этот пропуск, но предложил доехать до Орши в каком-то санитарном поезде, шедшем за чем-то туда. Так мы и уехали из Москвы, — навсегда, как оказалось, — и какое это было всё-таки ужасное путешествие! Поезд шёл с вооруженной охраной, — на случай нападения на него последних удиравших с фронта скифов — по ночам проходил в темноте и весь затемнённый станции, и что только было на вокзалах этих, залитых рвотой и нечистотами, оглашаемых дикими, надрывными, пьяными воплями и песнями, то есть «музыкой революции»!

В тот год власть большевиков простиралась ещё на небольшую часть России, всё остальное было или свободно или занято немцами, австрийцами, и с их согласия и при их поддержке управлялось самостоятельно. В

тот год ужё шло великое бегство из Велико-  
россии людей всех чинов и званий, всякого  
пола и возраста — всякий, кто мог, бежал в  
ещё свободную и неголодающую Россию. И  
вот оказался через некоторое время и Толстой  
в числе бежавших. В августе приехала в Одес-  
су его вторая жена, поэтесса Наташа Кранди-  
евская, с двумя детьми, потом появился и он  
сам. Тут он встретился со мной как ни в чём  
ни бывало и кричал уже с полной искренно-  
стью и с такой запальчивостью, какой я ещё  
и не знал в нём:

— Вы не поверите, — кричал он, — до че-  
го я счастлив, что удрал наконец от этих него-  
дяев, засевших в Кремле, вы, надеюсь, отлич-  
но понимали, что орал я на вас на этом собра-  
нии по поводу идиотских «Двенадцати» и по-  
том всё время подличал только потому, что  
уже давно решил удрать и при том как мож-  
но удобнее и выгоднее. Думаю, что зимой бу-  
дем, Бог даст, опять в Москве. Как ни оскоти-  
нел русский народ, он не может не понимать,  
что творится! Я слышал по дороге сюда, на  
остановках в разных городах и в поездах, та-  
кие речи хороших, бородатых мужиков на-

счёт не только всех этих Свердловых и Троцких, но и самого Ленина, что меня мороз по коже драл! Погоди, погоди, говорят, доберёмся и до них! И доберутся! Бог свидетель, я бы сапоги теперь целовал у всякого царя! У меня самого рука бы не дрогнула ржавым шилом выколоть глаза Ленину или Троцкому, попадись они мне, — вот как мужики выкалывали глаза заводским жеребцам и маткам в помещичьих усадьбах, когда жгли и грабили их!

Осень, а затем зиму, очень тревожную, со сменой властей, а иногда и с уличными боями, мы и Толстые прожили в Одессе всё-таки более или менее сносно, кое-что продавали разным то и дело возникавшим по югу России книгоиздательствам, — Толстой, кроме того, получал неплохое жалованье в одном игорном клубе, будучи там старшиной, — но в начале апреля большевики взяли наконец и Одессу, обративши в паническое бегство французские и греческие воинские части, присланные защищать её, и Толстые тоже стремительно бежали морем (в Константинополь и дальше), мы же не успели бежать вместе с ними: бежали в Турцию, потом в Болга-

рию, в Сербию и, наконец, во Францию чуть ли не через год после того, прожив почти пять несказанно мучительных месяцев под большевиками, освобождены были добровольцами Деникина, — его главная армия чуть не дошла в ту, вторую, осень до Москвы, — но в конце января 1920 года опять чуть не попали под власть большевиков и тут уже навеки простились с Россией.[55]

Почему мы не погибли в Чёрном море на пути в Константинополь, одному Богу ведомо. Мы ушли из города в порт пешком, тёмным, грязным вечером, когда большевики уже входили в город, и едва втиснулись в несметную толпу прочих беженцев, набившихся в маленький, ветхий греческий пароход «Патрас», а нас было четверо: с нами был знаменитый русский ученый Никодим Павлович Кондаков,[56] грузный старик лет семидесяти пяти, и молодая женщина, бывшая секретарем его и почти нянькой. Шли мы затем до Константинополя двое суток в снежную бурю, капитан «Патраса» был пьяница-албанец, не знавший Чёрного моря, и, если бы, случайно не оказался на «Патрасе» русский моряк, заме-

нивший его, потонул бы «Патрас» со всеми своими несчастными пассажирами непременно. А в Константинополь мы пришли в ледяные сумерки с пронзительным ветром и снегом, пристали под Стамбулом и тут должны были идти под душ в каменный сарай — «для дезинфекции». Константинополь был тогда оккупирован союзниками, и мы должны были идти в этот сарай по приказу французского доктора, но я так закричал, что мы с Кондаковым «Immortels», «Бессмертные» (ибо мы с Кондаковым были членами Российской императорской Академии), что доктор, вместо того, чтобы сказать нам: «Но тем лучше, вы, значит, не умрете от этого душа», — сдался и освободил нас от него. Зато нас вместе с нашим жалким беженским имуществом покидали по чьему-то приказанию на громадный, грохочущий камион и помчали за Стамбул, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых, и оставили ночевать в какой-то совершенно пустой руине тоже огромного турецкого дома, и мы спали там на полу в полной тьме, при разбитых окнах, а утром узнали, что руина эта ещё недавно была убежи-

цем прокаженных, охраняемая теперь великаном-негром, и только к вечеру перебрались в Галату, в помещение уже упраздненного русского консульства, где до отъезда в Софию спали тоже на полу.

Толстой осенью 1919 года, когда в Одессе была власть Деникина, послал мне из Парижа два письма. Он писал очень сердечно:

«Мне было очень тяжело тогда (в апреле) расставаться с Вами. Час был тяжёлый. Но тогда точно ветер подхватил нас, и опомнились мы не скоро, уже на пароходе. Что было перетерплено — не рассказать. Спали мы с детьми в сыром трюме рядом с тифозными, и по нас ползали вши. Два месяца сидели на собачьем острове в Мраморном море. Место было красивое, но денег не было. Три недели ехали мы (потом) в каюте, которая каждый день затоплялась водой из солдатской портомойни, но зато все это искупилось пребыванием здесь (во Франции). Здесь так хорошо, что было бы совсем хорошо, если бы не сознание, что родные наши и друзья в это время там мучаются».

В другом письме он сообщал:

«Милый Иван Алексеевич, князь Георгий Евгеньевич Львов (бывший глава Временного правительства, он сейчас в Париже) говорил со мной о Вас, спрашивал, где Вы и нельзя ли Вам предложить эвакуироваться в Париж. Я сказал, что Вы, по всей вероятности, согласились бы, если бы Вам был гарантирован минимум для жизни вдвоём. Я думаю, милый Иван Алексеевич, что Вам было бы сейчас благоразумно решиться на эту эвакуацию. Минимум Вам будет гарантирован, кроме того, к Вашим услугам журнал „Грядущая Россия“ (начавший выходить в Париже), затем одно огромное издание, куда я приглашён редактором, кроме того, издания Ваших книг по-русски, немецки и английски. Самое же главное, что Вы будете в благодатной и мирной стране, где чудесное красное вино и всё, всё в изобилии. Если Вы приедете или известите заранее о Вашем приезде, то я сниму виллу под Парижем в Сен-Клу или в Севре с тем расчётом, чтобы Вы с Верой Николаевной поселились у нас. Будет очень, очень хорошо...»

В первом письме были ещё такие строки:

«Пришлите, Иван Алексеевич, мне Ваши книги и разрешение для перевода рассказов на французский язык. Ваши интересы я буду блюсти и деньги высылать честно, то есть не зажимать. В Париже Вас очень хотят переводить, а книг нет... Все это время работаю над романом, листов в 18–20.[57] Написано — одна треть. Кроме того, подрабатываю на стороне и честно и похабно — сценарий... Франция — удивительная, прекрасная страна, с устоями, с доброй стариной, обжилой дом... Большевиков здесь быть не может, что бы ни говорили... Крепко и горячо обнимаю Вас, дорогой Иван Алексеевич...»

Константинополь, Болгария, Сербия, Чехия — всюду в ту пору было полно русскими беженцами. То же было и в Париже. Париж, куда мы приехали в самом конце марта, встретил нас не только радостной красотой своей весны, но и особенным многолюдством русских, многие имена которых были известны не только всей России, но и Европе, — тут были некоторые уцелевшие великие князья, миллионеры из дельцов, знаменитые политические и общественные деятели, депутаты

Государственной думы, писатели, художники, журналисты, музыканты, и все были, невзирая ни на что, преисполнены надежд на возрождение России и возбуждены своей жизнью и той разнообразной деятельностью, которая развивалась всё более и более на всех поприщах. И с кем только не встречались мы чуть не каждый день в первые годы эмиграции на всяких заседаниях, собраниях и в частных домах! Деникин, Керенский, князь Львов, Маклаков, Стахович, Милюков, Струве, Гучков, Набоков, Савинков, Бурцев, композитор Прокофьев, из художников — Яковлев, Малявин, Судейкин, Бакст, Шухаев; из писателей — Мережковские, Куприн, Алданов, Тэффи, Бальмонт. Толстой был прав в письмах ко мне в Одессу — в бездействии и в нужде тут нельзя было тогда погибнуть. Вскоре и мы неплохо устроились материально, а Толстые и того лучше, да и как могло быть иначе? Толстой однажды явился ко мне утром и сказал: «Едем по буржуям собирать деньги; нам, писакам, надо затеять своё собственное книгоиздательство, русских журналов и газет в Париже достаточно, печататься нам есть где, но

это мало, мы должны ещё и издаваться!» И мы взяли такси, навестили нескольких «буржуев», каждому из них излагая цель нашего визита в нескольких словах, каждым были приняты с отменным радушием, и в три-четыре часа собрали сто шестьдесят тысяч франков, а что это было тридцать лет тому назад! И книгоиздательство мы вскоре основали, и оно было тоже немалым материальным подспорьем не только нам с Толстым. Но у Толстых была постоянная беда: денег им никогда не хватало. Не раз говорил он мне в Париже:

— Господи, до чего хорошо живём мы во всех отношениях, за весь свой век не жил я так, только вот деньги чёрт их знает куда страшно быстро исчезают в суматохе...

— В какой суматохе?

— Ну я уж не знаю в какой; главное то, что пустые карманы я совершенно ненавижу, поехать куда-нибудь в город, смотреть на витрины без возможности купить что-нибудь — истинное мучение для меня; покупать я люблю даже всякую совсем ненужную ерунду до страсти! Кроме того, ведь нас пять человек,

считая эту эстонку при детях. Вот и надо постоянно ловчиться...

Раз он сказал совсем другое: «А, будь я очень богат, было бы чертовски скучно...» Но пока ловчиться всё же было надо, и он ловчился; приехав в Париж, встретил там старого московского друга Крандиевских, состоятельного человека, и при его помощи не только жил первое время, но даже и оделся и обулся с порядочным запасом.

— Я не дурак, — говорил он мне, смеясь, — тотчас накупил себе белья, ботинок, у меня их целых шесть пар и все лучшей марки и на великолепных колодках, заказал три пиджачных костюма, смокинг, два пальто... Шляпы у меня тоже превосходные, на все сезоны...

В надежде на падение большевиков некоторые парижские русские богатые люди и банки покупали в первые годы эмиграции разные имущества эмигрантов, оставшиеся в России, и Толстой продал за восемнадцать тысяч франков своё несуществующее в России имение, выпучивал глаза, рассказывая мне об этом:

— Понимаете, какая дурацкая история вы-

шла: я всё им изложил честь честью, и сколько десятин, и сколько пахотной земли и всяких угодий, как вдруг спрашивают: а где же находится это имение? Я было заметался, как сукин сын, не зная, как соврать, да, к счастью, вспомнил комедию «Каширская старина» и быстро говорю: в Каширском уезде, при деревне Порточки... И, слава Богу, продал!

Жили мы с Толстыми в Париже особенно дружно, встречались с ними часто, то бывали они в гостях у наших общих друзей и знакомых, то Толстой приходил к нам с Наташей, то присылал нам записочки в таком, например, роде;

«У нас нынче буйабез от Прюнье и такое пуи (древнее), какого никто и никогда не пивал, четыре сорта сыру, котлеты от Потэн, и мы с Наташей боимся, что никто не придёт. Умоляю — быть в семь с половиной!»

«Может быть, вы и Цетлины зайдете в нам вечерком — выпить стакан доброго вина и полюбоваться огнями этого чудного города, который так далеко виден с нашего шестого этажа. Мы с Наташей к вашему приходу оклеим прихожую новыми обоями...»

Но прошёл год, прошёл другой, денег не хватало всё чаще, и Толстой стал бормотать:

— Совершенно не понимаю, как быть дальше! Сорвал со всех, с кого было можно, уже тридцать семь тысяч франков, — в долг, разумеется, как это принято говорить между порядочными людьми, — теперь бледнеют, когда я вхожу в какой-нибудь дом на обед или на вечер, — зная, что я тотчас подойду к кому-нибудь, притворно задыхаясь: тысячу франков до пятницы, иначе мне пуля в лоб!

Наташу Толстую я узнал ещё в декабре 1903 года в Москве. Она пришла ко мне однажды в морозные сумерки, вся в инее, — иней опустил всю её беличью шапочку, беличий воротник шубки, ресницы, уголки губ, — и я просто поражён был её юной прелестью, её девичьей красотой и восхищён талантливостью её стихов, которые она принесла мне на просмотр, которые она продолжала писать и впоследствии, будучи замужем за своим первым мужем, а потом за Толстым, но всё-таки почему-то совсем бросила ещё в Париже. Она тоже не любила скудной жизни, говорила:

— Что ж, в эмиграции, конечно, не дадут

умереть с голоду, а вот ходить оборванной и в разбитых башмаках дадут...

Думаю, она немало способствовала Толстому в его конечном решении возвратиться в Россию.

Как бы то ни было, летом 1921 года Толстой ещё не думал, кажется, не только о России, но и о Берлине. То лето Толстые проводили под Бордо, в небольшом имении, купленном «Земгором» из остатков его общественных средств, и Толстой писал мне оттуда:

«Милые друзья, Иван и Вера Николаевна, было бы напрасно при Вашей недоверчивости уверять Вас, что я очень давно собирался вам писать, но откладывал исключительно по причине того, что напишу завтра... Как вы живёте? Живём мы в этой дыре неплохо, питаемся лучше, чем в Париже, и дешевле больше чем вдвое. Если бы были хоть „тительные“ денежки — рай, хотя скучно. Но денег нет совсем, и если ничего не случится хорошего осенью, то и с нами ничего хорошего не случится. Напиши мне, Иван, милый, как наши общие дела? Бог смерти не дает — надо кряхтеть! Пишу довольно много. Окончил роман и

переделываю конец. Хорошо было бы, если бы вы оба приехали сюда зимовать, мы бы перезимовали вместе. Дом комфортабельный, и жили бы мы чудесно и дёшево, в Париж можно наезжать. Подумай, напиши..»

Но к осени ничего хорошего не случилось, не случилось ничего хорошего и с Толстым. И однажды вечером мы, вернувшись домой, нашли его карточку, на которой были написаны в некотором роде роковые слова:

«Приходил читать роман и проститься».

Следующие письма были уже из Берлина (всюду привожу лишь выдержки):

«16 ноября 1921 г. Милый Иван, приехали мы в Берлин, — Боже, здесь всё иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае очень близко от России. Жизнь здесь приблизительно как в Харькове при гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. Но есть, конечно, и существенное отличие: там вся жизнь построена была на песке, на политике, на аванюре, — революция была только заказана сверху. Здесь чувствуется покой в массе народа, воля к работе, немцы работают, как никто. Большевизма здесь не будет, это уже

ясно. На улице снег, совсем как в Москве в конце ноября, — всё чёрное. Живем мы в пансионе, недурно, но тебе бы не понравилось. Вина здесь совсем нет, это очень большое лишение, а от здешнего пива гонит в сон и в мочу... Здесь мы пробудем недолго и затем едем — Наташа с детьми в Фрейбург, я — в Мюнхен... Здесь вовсю идёт издательская деятельность. На марки все это грош, но, живя в Германии, зарабатывать можно неплохо. По всему видно, что у здешних издателей определённые планы торговать книгами с Россией. Вопрос со старым правописанием, очевидно, будет решен в положительном смысле. Скоро, скоро наступят времена полегче наших...»

«Суббота, 21 января 1922 г. Милый Иван, прости, что долго не отвечал тебе, недавно вернулся из Мюнстера и, закружившись, как это ты сам понимаешь, в вихре великосветской жизни, откладывал ответы на письма. Я удивляюсь — почему ты так упорно не хочешь ехать в Германию, на те, например, деньги, которые ты получил с вечера, ты мог бы жить и Берлине вдвоем в лучшем панси-

оне, в лучшей части города девять месяцев: жил бы барином, ни о чём не заботясь. Мы с семьей, живя сейчас на два дома, проживаем тринадцать-четырнадцать тысяч марок в месяц, то есть меньше тысячи франков. Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето, то есть на самое тяжёлое время. В Париже мы бы умерли с голоду. Заработки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной бы построчной платой мог бы существовать безбедно... Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается всё, даже такие книги, которые в довоенное время в России сели бы. И есть у всех надежда, что рынок увеличится продвижением книг в Россию: часть книг уже проникает туда, — не говоря уже о книгах с соглашательским оттенком, проникает обычная литература... Словом, в Берлине сейчас уже около тринадцати издательств, и все они, так или иначе, работают... Обнимаю тебя. Твой А. Толстой».

Очень значительна в этом письме строка:

«Если я получу что-нибудь со спектакля моей пьесы, то я буду обеспечен на лето...» Значит, он тогда ещё и не думал о возвращении в Россию. Однако это письмо было уже последним его письмом ко мне.

-

В последний раз я случайно встретился с ним в ноябре 1936 года, в Париже. Я сидел однажды вечером в большом людном кафе, он тоже оказался в нём, — зачем-то приехал в Париж, где не был со времени отъезда своего сперва в Берлин, потом в Москву, — издали увидел меня и прислал мне с гарсоном клочок бумажки: «Иван, я здесь, хочешь видеть меня? А. Толстой». Я встал и прошёл в ту сторону, которую указал мне гарсон. Он тоже уже шёл навстречу мне и как только мы сошлись, тотчас закричал своим столь знакомым мне смешком и забормотал. «Можно тебя поцеловать? Не боишься большевика?» — спросил он, вполне откровенно насмехаясь над своим большевизмом, и с такой же откровенностью, той же скороговоркой и продолжал разговор ещё на ходу:

Страшно рад видеть тебя и спешу тебе ска-

зять, до каких же пор ты будешь тут сидеть, дожидаясь нищей старости? В Москве тебя с колоколами бы встретили, ты представить себе не можешь, как тебя любят, как тебя читают в России...

Я перебил, шутя:

— Как же это с колоколами, ведь они у вас запрещены.

Он забормотал сердито, но с горячей сердечностью:

— Не придирайся, пожалуйста, к словам. Ты и представить себе не можешь, как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три автомобиля... У меня такой набор драгоценных английских трубок, каких у самого английского короля нету... Ты что ж, воображаешь, что тебе на сто лет хватит твоей Нобелевской премии?

Я поспешил переменить разговор, посидел с ним недолго, — меня ждали те, с кем я пришёл в кафе, — он сказал, что завтра летит в Лондон, но позвонит мне утром, чтобы условиться о новой встрече; и не позвонил, — «в суматохе!» — и вышла эта встреча нашей по-

следней. Во многом он был уже не тот, что прежде: вся его крупная фигура похудела, волосы поредели, большие роговые очки заменили пенсне, пить ему было уже нельзя, запрещено докторами, выпили мы с ним, сидя за столиком, только по одному фужеру шампанского...

*1949*

# Рахманинов

При моей первой встрече с ним в Ялте произошло между нами нечто подобное тому, что бывало только в романтические годы молодости Герцена, Тургенева, когда люди могли проводить целые ночи в разговорах о прекрасном, вечном, о высоком искусстве. Впоследствии, до его последнего отъезда в Америку, встречались мы с ним от времени до времени очень дружески, но всё же не так, как в ту встречу, когда, проговорив чуть не всю ночь на берегу моря, он обнял меня и сказал: «Будем друзьями навсегда!» Уж очень различны были наши жизненные пути, судьба всё разъединяла нас, встречи наши были всегда случайны, чаще всего недолги, и была, мне кажется, вообще большая сдержанность в характере моего высокого друга. А в ту ночь мы были ещё молоды, были далеки от сдержанности, как-то внезапно сблизились чуть не с первых слов, которыми обменялись в большом обществе, собравшемся, уже не помню почему, на весёлый ужин в лучшей ялтинской гостинице «Россия». Мы за ужином

сидели рядом, пили шампанское Абрау-Дюрсо, потом вышли на террасу, продолжая разговор о том падении прозы и поэзии, что совершалось в то время в русской литературе, незаметно спустились во двор гостиницы, потом на набережную, ушли на мол, — было уже поздно, нигде не было ни души, — сели на какие-то канаты, дыша их дегтярным запахом и этой какой-то совсем особой свежестью, что присуща только черноморской воде, и говорили, говорили всё горячей и радостней уже о том чудесном, что вспомнилось нам из Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Майкова... Тут он взволнованно, медленно стал читать то стихотворение Майкова, на которое он, может быть, уже написал тогда или только мечтал написать музыку:

*Я в гроте ждал тебя в урочный  
час.  
Но день померк; главой качая сон-  
ной,  
Заснули тополи, умолкли гальци-  
оны:  
Напрасно! Месяц встал, серебрился  
и угас;  
Редела ночь; любовница Кефала,*

*Облокотясь на рдяные врата  
Младого дня, из кос своих роняла  
Златые зерна перлов и опала  
На синие долины и леса...*

# Репин

**И**з художников я встречался с братьями Васнецовыми, с Нестеровым, с Репиным... Нестеров хотел написать меня за мою худобу святым, в том роде, как он их писал; я был польщён, но уклонился, — увидеть себя в образе святого не всякий согласится. Репин тоже удостоил меня — он однажды, когда я был в Петербурге с моим другом художником Нилусом, пригласил меня ездить к нему на дачу в Финляндии, позировать ему для портрета. «Слышу от товарищей по кисти, — писал он мне, — слышу милую весть, что приехал Нилус, наш художник прекрасный, — ах, если бы мне его краски! — а с ним и вы, прекрасный писатель, портрет которого мечтаю написать: приезжайте, милый, сговоримся и засядем за работу». Я с радостью поспешил к нему: ведь какая это была честь — быть написанным Репиным! И вот приезжаю, дивное утро, солнце и жестокий мороз, двор дачи Репина, помешавшегося в ту пору на вегетарианстве и на чистом воздухе, в глубоких снегах, а в доме — все окна настежь; Репин

встречает меня в валенках, в шубе, в меховой шапке, целует, обнимает, ведёт в свою мастерскую, где тоже мороз, как на дворе, и говорит: «Вот тут я буду вас писать по утрам, а потом будем завтракать как господь бог велел: травкой, дорогой мой, травкой! Вы увидите, как это очищает и тело и душу, и даже проклятый табак скоро бросите». Я стал низко кланяться, горячо благодарить, забормотал, что завтра же приеду, но что сейчас должен немедленно спешить назад, на вокзал — страшно срочные дела в Петербурге. И сейчас же вновь расцеловался с хозяином и пустился со всех ног на вокзал, а там кинулся к буфету, к водке, жадно закурил, вскочил в вагон, а из Петербурга на другой день послал телеграмму: дорогой Илья Ефимович, я, мол, в полном отчаянии, срочно вызван в Москву, уезжаю нынче же с первым поездом...

# Джером Джером

**К**то из русских не знает его имени, не читал его? Но не думаю, чтобы многие русские могли похвалиться знакомством с ним. Два, три человека разве — и в том числе я.

Я в Англии до 1926 года не бывал. Но в этом году лондонский R.E.N. Club вздумал пригласить меня на несколько дней в Лондон, устроить по этому поводу литературный банкет, показать меня английским писателям и некоторым представителям английского общества. Хлопоты насчёт визы и расходы по поездке клуб взял на себя — и вот я в Лондоне.

Возили меня в очень разнообразные дома, но в каждом из них я непременно претерпевал что-нибудь достойное Джерома. Чего стоят одни обеды, во время которых тебя жжёт с одной стороны пылающий, как геенна огненная, камин, а с другой — полярный холод!

Перед самым отъездом из Лондона я был в одном доме, куда собралось особенно много народа. Было очень оживленно и очень приятно, только так тесно, что стало даже жарко,

и милые хозяева вдруг распахнули все окна настежь, невзирая на то, что за ними валил снег. Я шутя закричал от страха и кинулся по лестнице спасаться в верхний этаж, где тоже было много гостей, и на бегу услышал за собой какие-то радостные восклицания: неожиданно явился Джером Джером.

Он медленно поднялся по лестнице, медленно вошёл в комнату среди почтительно расступившейся публики и, здороваясь со знакомыми, вопросительно обвёл комнату глазами. Так как оказалось, что он пришёл только затем, чтобы познакомиться со мной, то его подвели ко мне. Он старомодно и как-то простонародно подал мне большую, толстую руку и маленькими голубыми глазами, в которых играл живой, весёлый огонек, пристально поглядел мне в лицо.

— Очень рад, очень рад, — сказал он. — Я теперь, как младенец, по вечерам никуда не выхожу, в десять часов уже в постельку! Но вот разрешил себе маленькое отступление от правил, пришёл на минутку — посмотреть, какой вы, пожать вашу руку...

Это был плотный, очень крепкий и призе-

мистый старик с красным и широким бритым лицом, в просторном и длиннополом чёрном сюртуке, в крахмальной рубашке с отложным воротничком, под которым скромно лежала завязанная бантиком узкая ленточка галстука, — настоящий старозаветный коммерсант или пастор.

Через несколько минут он действительно ушёл и навсегда оставил во мне впечатление чего-то очень добротного и очень приятного, но уж никак не юмориста, не писателя со всемирной славой.

# Шаляпин

**В** Москве когда-то говорили, что Шаляпин дружит с писателями в пику Собинову, который соперничал с ним в славе: говорили, что тяга Шаляпина к писателям объясняется вовсе не его любовью к литературе, а желанием слыть не только знаменитым певцом, но и «передовым, идейным человеком», — пусть, мол, сходит с ума от Собинова только та публика, которая во все времена и всюду сходила и будет сходиться с ума от теноров. Но мне кажется, что Шаляпина тянуло к нам не всегда корыстно. Помню, например, как горячо хотел он познакомиться с Чеховым, сколько раз говорил мне об этом. Я наконец спросил:

— Да за чем же дело стало?

— За тем, — отвечал он, — что Чехов нигде не показывается, всё нет случая представить ему.

— Помилуй, какой для этого нужен случай! Возьми извозчика и поезжай.

— Но я вовсе не желаю показаться ему нахалом! А кроме того, я знаю, что я так оробею перед ним, что покажусь ещё и совершенным

дураком. Вот если бы ты свёз меня как-нибудь к нему...

Я не замедлил сделать это и убедился, что всё была правда: войдя к Чехову, он покраснел до ушей, стал что-то бормотать... А вышел от него в полном восторге:

— Ты не поверишь, как я счастлив, что наконец узнал его, и как очарован им! Вот это человек! Вот это писатель! Теперь на всех прочих буду смотреть как на верблюдов.

— Спасибо, — сказал я, смеясь.

Он захохотал на всю улицу.

-

Есть знаменитая фотографическая карточка, — знаменитая потому, что она, в виде открытки, разошлась в своё время в сотнях тысячах экземпляров, — та, на которой сняты Андреев, Горький, Шаляпин, Скиталец, Чириков, Телешов и я. Мы сошлись однажды на завтрак в московский немецкий ресторан «Альпийская роза», завтракали долго и весело и вдруг решили ехать сниматься. Тут мы со Скитальцем сперва немножко поругались. Я сказал:

— Опять сниматься! Всё сниматься!

Сплошная собачья свадьба.

Скиталец обиделся.

— Почему же это свадьба да ещё собачья? — ответил он своим грубо-наигранным басом. — Я, например, собакой себя никак не считаю, не знаю, как другие считают себя.

— А как же это назвать иначе? — сказал я. — Идёт у нас сплошной пир, праздник. По вашим же собственным словам, «народ пухнет с голоду», Россия гибнет, в ней «всякие напасти, внизу власть тьмы, а наверху тьма власти», над ней «реет буревестник, чёрной молнии подобен», а что в Москве, в Петербурге? День и ночь праздник, всероссийское событие за событием: новый сборник «Знания», новая пьеса Гамсуна, премьера в Художественном театре, премьера в Большом театре, курсистки падают в обморок при виде Станиславского и Качалова, лихачи мчатся к Яру и в Стрельну...

Дело могло перейти в ссору, но тут поднялся общий смех. Шаляпин закричал:

— Браво, правильно! А всё-таки айда, братцы, увековечивать собачью свадьбу! Снимаемся мы, правда, частенько, да надо же что-

нибудь потомству оставить после себя. А то пел, пел человек, а помер — и крышка ему.

— Да, — подхватил Горький, — писал, писал — да и окошел.

— Как например, я, — сумрачно сказал Андреев. — Околею в первую голову...

Он это постоянно говорил, и над ним посмеивались. Но так оно и вышло.

-

Все считали Шаляпина очень левым, ревели от восторга, когда он пел «Марсельезу» или «Блоху», в которой тоже усматривали нечто революционное, сатанинское, издевательство над королями:

*Жил-был король когда-то,  
При нем блоха жила...*

И что же вдруг случилось? Сатана стал на колени перед королём, — по всей России прокатился слух: Шаляпин стал на колени перед царем! Толкам об этом, возмущению Шаляпиным не было конца-краю. И сколько раз потом оправдывался Шаляпин в этом своем прегрешении!

— А как же мне было не стать на коле-

ни? — говорил он. — Был бенефис императорского оперного хора, вот хор и решил обратиться на высочайшее имя с просьбой о прибавке жалованья, воспользоваться присутствием царя на спектакле и стать перед ним на колени. И обратился и стал. И что же мне, тоже певшему среди хора, было делать? Я никак не ожидал этого коленопреклонения, как вдруг вижу: весь хор точно косою скосило на сцене, все оказались на коленях, протягивая руки к царской ложе! Что же мне было делать? Одному торчать над всем хором телеграфным столбом? Ведь это же был бы форменный скандал!

-

В России я его видел в последний раз в начале апреля 1917 года, в дни, когда уже приехал в Петербург Ленин. Я в эти дни тоже был в Петербурге и вместе с Шаяпиным получил приглашение от Горького присутствовать на торжественном сборище в Михайловском театре, где Горький должен был держать речь по поводу учреждения им какой-то «Академии свободных наук». Не понимаю, не помню, почему мы с Шаяпиным получили при-

глашение на это во всех смыслах нелепое сборище.

Горький держал свою речь весьма долго, высокопарно и затем объявил:

— Товарищи, среди нас Шаляпин и Бунин! Предлагаю их приветствовать!

Зал стал бешено аплодировать, стучать ногами, вызывать нас. Мы скрылись за кулисы, как вдруг кто-то прибежал вслед за нами, говоря, что зал требует, чтобы Шаляпин пел. Выходило так, что Шаляпину опять надо было «становиться на колени». Но он решительно сказал прибежавшему:

— Я не пожарный, чтобы лезть на крышу по первому требованию. Так и объявите в зале.

Прибежавший скрылся, а Шаляпин сказал мне, разводя руками:

— Вот, брат, какое дело: и петь нельзя, и не петь нельзя, — ведь в своё время вспомнят, на фонаре повесят, черти. А всё-таки петь я не стану.

И так и не стал. При большевиках уже не был столь храбр. Зато в конце концов ухитрился сбежать от них.

В июне тридцать седьмого года я слушал его в последний раз в Париже. Он давал концерт, пел то один, то с хором Афонского. Думаю, что уже и тогда он был тяжело болен. Волновался необыкновенно. Он, конечно, всегда волновался, при всех своих выступлениях, — это дело обычное: я видел, как вся тряслась и крестилась перед выходом на сцену Ермолова, видел за кулисами после сыгранной роли Ленского и даже самого Росси, — войдя в свою уборную, они падали просто за смертью. То же самое в некоторой мере бывало, вероятно, и с Шаляпиным, только прежде публика этого никогда не видала. Но на этом последнем концерте она видела, и Шаляпина спасал только его талант жестов, интонаций. Из-за кулис он прислал мне записку, чтобы я зашёл к нему. Я пошёл. Он стоял бледный, в поту, держа папиросу в дрожащей руке, тотчас спросил (чего прежде, конечно, не сделал бы):

— Ну что, как я пел?

— Конечно, превосходно, — ответил я. И пошутил: — Так хорошо, что я всё время под-

певал тебе и очень возмущал этим публику.

— Спасибо, милый, пожалуйста, подпишай, — ответил он со смутной улыбкой. — Мне, знаешь, очень нездоровится, на днях уезжаю отдыхать в горы, в Австрию. Горы — это, брат, первое дело. А ты на лето куда?

Я опять пошутил:

— Только не в горы. Я и так все в горах: то Монмартр, то Монпарнас.

Он опять улыбнулся, но очень рассеянно.

Ради чего дал он этот последний концерт? Ради того, вероятно, что чувствовал себя на исходе и хотел проститься со сценой, а не ради денег, хотя деньги любил, почти никогда не пел с благотворительными целями, любил говорить:

— Бесплатно только птички поют.

-

В последний раз я видел его месяца за полтора до его кончины, — навестил его, больного, вместе с М. А. Алдановым. Болен он был уже тяжело, но сил, жизненного и актёрского блеска было в нём еще много. Он сидел в кресле в углу столовой, возле горевшей под жёлтым абажуром лампы, в широком чёрном

шёлковом халате, в красных туфлях, с высоко поднятым надо лбом коком, огромный и великолепный, как стареющий лев. Такого породистого величия я в нём прежде никогда не видал. Какая была в нём кровь? Та особая севернорусская, что была в Ломоносове, в братьях Васнецовых? В молодости он был крайне простонароден с виду, но с годами всё менялся и менялся.

-

Толстой, в первый раз послушав его пение, сказал:

— Нет, он поёт слишком громко.

Есть ещё и до сих пор множество умников, искренне убеждённых, что Толстой ничего не понимал в искусстве, «бранил Шекспира, Бетховена». Оставим их в стороне; но как же всё-таки объяснить такой отзыв о Шаляпине? Он остался совершенно равнодушен ко всем достоинствам шаляпинского голоса, шаляпинского таланта? Этого, конечно, быть не могло. Просто Толстой умолчал об этих достоинствах, — высказался только о том, что показалось ему недостатком, указал на ту черту, которая действительно была у Шаляпина все-

гда, а в те годы, — ему было тогда лет двадцать пять, — особенно: на избыток, на некоторую неумеренность, подчеркнутость его всяческих сил. В Шаляпине было слишком много «богатырского размаха», данного ему и от природы и благоприобретенного на подмостках, которыми с ранней молодости стала вся его жизнь, каждую минуту раздражаемая непрестанными восторгами толпы везде и всюду, по всему миру, где бы она его ни видала: на оперной сцене, на концертной эстраде, на знаменитом пляже, в дорогом ресторане или в салоне миллионера. Трудно вкусившему славы быть умеренным!

— Слава подобна морской воде, — чем больше пьёшь, тем больше жаждешь, — шутил Чехов.

Шаляпин пил эту воду без конца, без конца и жаждал. И как его судить за то, что любил он подчеркивать свои силы, свою удачу, свою русскость, равно как и то, «из какой грязи попал он в князи»? Раз он показал мне карточку своего отца:

— Вот, посмотри, какой был у меня родитель. Драл меня нещадно!

Но на карточке был весьма благопристойный человек лет пятидесяти, в крахмальной рубашке с отложным воротничком и с чёрным галстучком, в енотовой шубе, и я усомнился: точно ли драл? Почему это все так называемые «самородки» непременно были «нещадно драны» в детстве, в отрочестве? «Горький, Шаляпин поднялись со дна моря народного»... Точно ли «со дна»? Родитель, служивший в уездной земской управе, ходивший в енотовой шубе и в крахмальной рубашке, не бог весть какое дно. Думаю, что несколько прикрашено вообще всё детство, всё отрочество Шаляпина в его воспоминаниях, прикрашены друзья и товарищи той поры его жизни, — например, какой-то кузнец, что-то уж слишком красиво говоривший ему о пении:

— Пой, Федя, — на душе веселей будет! Песня — как птица, выпусти её, она и летит!

И всё-таки судьба этого человека была действительно сказочна, — от приятельства с кузнецом до приятельских обедов с великими князьями и наследными принцами дистанция немалая. Была его жизнь и счастли-

ва без меры, во всех отношениях: поистине дал ему бог «в пределе земном всё земное». Дал и великую телесную крепость, пошатнувшуюся только после целых сорока лет страстий по всему миру и всяческих земных соблазнов.

-

Я однажды жил рядом с Баттистини в гостинице в Одессе: он тогда в Одессе гастролировал и всех поражал не только молодой свежестью своего голоса, но и вообще молодостью, хотя ему было уже семьдесят четыре года. В чём была тайна этой молодости? Отчасти в том, как берёт он себя: после каждого спектакля тотчас же возвращался домой, пил горячее молоко с зельтерской водой и ложился спать. А Шаляпин? Я его знал много лет и вот вспоминаю: большинство наших встреч с ним всё в ресторанах. Когда и где мы познакомились, не помню. Но помню, что перешли на «ты» однажды ночью в Большом Московском трактире, в огромном доме против Иверской часовни. В этом доме, кроме трактира, была и гостиница, в которой я, приезжая в Москву, иногда живал подолгу. Слово трактир

уже давно не подходило к тому дорогому и обширному ресторану, в который постепенно превратился трактир с годами, и тем более в ту пору, когда я жил над ним в гостинице: в эту пору его ещё расширили, открыли при нём новые залы, очень богато обставленные и предназначенные для особенно богатых обедов, для ночных кутежей наиболее знатных московских купцов из числа наиболее европеизированных. Помню, что в тот вечер главным среди пирующих был московский француз Сиу со своими дамами и знакомыми, среди которых сидел и я. Шампанское за столом Сиу, как говорится, лилось рекой, он то и дело посылал на чай сторублевки неаполитанскому оркестру, игравшему и певшему в своих красных куртках на эстраде, затопленной блеском люстр. И вот на пороге зала вдруг выросла огромная желтоволосого Шалапина. Он, что называется, «орлиным» взором окинул оркестр — и вдруг взмахнул рукой и подхватил то, что он играл и пел. Нужно ли говорить, какой исступленный восторг охватил неаполитанцев и всех пирующих при этой неожиданной «королевской»

милости! Пили мы в ту ночь чуть не до утра, потом, выйдя из ресторана, остановились, прощаясь на лестнице в гостиницу, и он вдруг мне сказал таким волжским тенорком:

— Думаю, Ванюша, что ты очень выпимиши, и поэтому решил поднять тебя на твой номер на своих собственных плечах, ибо лифт не действует уже.

— Не забывай, — сказал я, — что живу я на пятом этаже и не так мал.

— Ничего, милый, — ответил он, — как-нибудь донесу!

И, действительно, донёс, как я ни отбивался. А донеся, доиграл «богатырскую» роль до конца — потребовал в номер бутылку «сто-летнего» бургонского за целых сто рублей (которое оказалось похоже на малиновую воду).

-

Не надо преувеличивать, но не надо и преуменьшать: тратил он себя всё-таки порядочно. Без умолку говорить, не давая рта раскрыть своему собеседнику, неустанно рассказывать то то, то другое, всё изображая в лицах, сыпать прибаутками, словечками, — и чаще всего самыми крепкими, — жечь папи-

росу за папиросой и всё время «богатырствовать» было его истинной страстью. Как-то неслись мы с ним на лихаче по зимней ночной Москве из «Прац» в «Стрельну»: мороз жестокий, лихач мчит во весь опор, а он сидит во весь свой рост, распахнувши шубу, говорит и хохочет во все горло, курит так, что искры летят по ветру. Я не выдержал и крикнул:

— Что ты над собой делаешь! Замолчи, запахнись и брось папиросу!

— Ты умный, Ваня, — ответил он сладким говорком, — только напрасно тревожишься: жила у меня, брат, особенная, русская, все выдержит.

— Надоел ты мне со своей Русью! — сказал я...

— Ну, вот, вот. Опять меня бранишь. А я этого боюсь, бранью человека можно в гроб вогнать. Всё называешь меня «ой ты, гой еси, добрый молодец»: за что, Ваня?

— За то, что не щеголяй в поддевках, в лаковых голенищах, в шёлковых жаровых косоворотках с малиновыми поясками, не наряжайся под народника вместе с Горьким, Ан-

дреевым, Скитальцем, не снимайся с ними в обнимку в разудало-задумчивых позах, — помни, кто ты и кто они.

— Чем же я от них отличаюсь?

— Тем, что, например, Горький и Андреев очень способные люди, а все их писания всё-таки только «литература» и часто даже лубочная, твой же голос, во всяком случае, не «литература».

— Пьяные, Ваня, склонны льстить.

— И то правда, — сказал я, смеясь. — А ты всё-таки замолчи и запахнись.

— Ну, ин будь по-твоему...

И, запахнувшись, вдруг так рявкнул «У Карла есть враги!», что лошадь рванула и понесла ещё пуще.

-

В Москве существовал тогда литературный кружок «Среда», собиравшийся каждую неделю в доме писателя Телешова, богатого и радужного человека. Там мы читали друг другу свои писания, критиковали их, ужинали. Шаляпин был у нас нередким гостем, слушал чтения, — хотя терпеть не мог слушать, — иногда садился за рояль и, сам себе аккомпа-

нируя, пел — то народные русские песни, то французские шансонетки, то «Блоху», то «Марсельезу», то «Дубинушку» — и всё так, что у иных «дух захватывало».

Раз, приехав на «Среду», он тотчас же сказал:

— Братцы, петь хочу!

Вызвал по телефону Рахманинова и ему сказал то же:

— Петь до смерти хочется! Возьми лихача и немедля приезжай. Будем петь всю ночь.

Было, во всем этом, конечно, актёрство, И всё-таки легко представить себе, что это за вечер был — соединение Шаляпина и Рахманинова. Шаляпин в тот вечер довольно справедливо сказал:

— Это вам не Большой театр. Меня не там надо слушать, а вот на таких вечерах, рядом с Сережей.

Так пел он однажды у меня в гостях на Капри, в гостинице «Квисисана», где мы с женой жили три зимы подряд. Мы дали обед в честь его приезда, пригласили Горького и ещё кое-кого из каприйской русской колонии. После обеда Шаляпин вызвался петь. И опять

вышел совершенно удивительный вечер. В столовой и во всех салонах гостиницы столпились все жившие в ней и множество каприйцев, слушали с горящими глазами, затаив дыхание... Когда я как-то завтракал у него в Париже, он сам вспомнил этот вечер:

— Помнишь, как я пел у тебя на Капри?

Потом завел граммофон, стал ставить напетые им в прежние годы пластинки и слушал самого себя со слезами на глазах, бормоча:

— Неплохо пел! Дай бог так-то всякому!

*1938*

# Куприн

Это было давно — когда я только что узнал о его существовании, впервые увидел в «Русском богатстве» его имя, которое все тогда произносили с ударением на первом слоге, и этим ударением, как я видел это впоследствии, почему-то так оскорбляли его, что он, как всегда в минуты гнева, по-звериному щурил глаза, и без того небольшие, и вдруг запальчиво бормотал своей обычной армейской скороговоркой, ударяя на последний слог:

— Я — Куприн и всякого прошу это помнить. На ежа садиться без штанов не советую.

Сколько в нём было когда-то этого звериного — чего стоит одно обоняние, которым он отличался в необыкновенной степени! И сколько татарского! Насчёт многого, что касалось его личной жизни, он был очень скрытен, так что, несмотря на всю нашу большую и такую долгую близость, я плохо знаю его прошлое. Знаю, что он учился в Москве, сперва в кадетском корпусе, потом в Александровском военном училище, недолгое время был

офицером на русско-австрийской границе, а затем чем только не был! Изучал зубоврачебное дело, служил в каких-то конторах, потом на каком-то заводе, был землемером, актёром, мелким журналистом... Кто был его отец? Кажется, военный врач, благодаря чему Александр Иванович и попал в кадетский корпус. Знаю ещё, что он рано умер и что вдова его оказалась в такой бедности, что принуждена была жить в московском «Вдовьем доме». Про неё знаю, что, по происхождению, она была княжна с татарской фамилией, и всегда видел, что Александр Иванович очень гордился своей татарской кровью. Одну пору (во время своей наибольшей славы) он даже носил цветную тубетейку, бывал в ней в гостях и в ресторанах, где садился так широко и важно, как пристало бы настоящему хану, и особенно узко щурил глаза. Это была пора, когда издатели газет, журналов и сборников на лихачах гонялись за ним по этим ресторанам, в которых он проводил дни и ночи со своими случайными и постоянными собутыльниками, и униженно умоляли его взять тысячу, две тысячи рублей авансом за одно только

обещание не забыть их при случае своей милостью, а он, грузный, большеликий, только щурился, молчал и вдруг отрывисто кидал таким зловещим шёпотом: «Геть сию же минуту к чёртовой матери!» — что робкие люди сразу словно сквозь землю проваливались. Но даже и тогда, в эту самую плохую его пору, много было в нём и совсем другого, столь же характерного для него: наряду с большой гордостью много неожиданной скромности, наряду с дерзкой запальчивостью много доброты, отходчивости, застенчивости, часто принимавшей какую-то даже жалостную форму, много наивности, простодушия, хотя порой и наигранного, много мальчишеской весёлости и того милого однообразия, с которым он всё изъяснялся в своей простой любви к собакам, к рыбакам, к цирку, к Дурову, к Поддубному — и к Пушкину, к Толстому, — тут он, впрочем, неизменно говорил только о лошади Вронского, о «прелестной, божественной Фру-Фру», — и ещё к Киплингу. За последние годы критики не раз сравнивали его самого с Киплингом. Сравнивали, разумеется, неудачно, — Киплинг возвышался в некоторых сво-

их вещах до подлинной гениальности, Киплинг был настолько велик, как поэт, и настолько своеобразен, един в своём роде, что кого же можно с ним сравнить? Но что Куприн мог любить его, вполне естественно.

Я поставил на него ставку тотчас после его первого появления в «Русском богатстве» и потому с радостью услышал однажды, гостя у писателя Федорова в Люстдорфе, под Одессой, что к нашим сожителям по даче Карышевым приехал писатель Куприн, и немедля пошёл с Федоровым знакомиться с ним. Лил дождь, но всё-таки дома мы его не застали, — «он, верно, купается», — сказали нам. Мы сбежали к морю и увидали неловко вылезавшего из воды невысокого, слегка полного и розового телом человека лет тридцати, стриженного каштановым ежиком, близоруко разглядывающего нас узкими глазами. «Куприн?» — «Да, а вы?» — Мы назвали себя, и он сразу просиял дружеской улыбкой, энергично пожал наши руки своей небольшой рукой (про которую Чехов сказал мне однажды: «Талантливая рука!»). После знакомства мы сошлись с ним удивительно быстро, — в нём тогда веселости

и добродушия было так много, что на всякий вопрос о нём, — кроме того, что касалось его семьи, его детства, — он отвечал с редкой поспешностью и готовностью своей отрывистой скороговоркой: «Откуда я сейчас? Из Киева... Служил в полку возле австрийской границы, потом полк бросил, хотя звание офицера считаю самым высоким... Жил и охотился в Полесье, — никто даже себе и представить не может, что такое охота на глухарей перед рассветом! Потом за гроши писал всякие гнусности для одной киевской газетки, ютился в трущобах среди самой последней сволочи... Что я пишу сейчас? Ровно ничего, — ничего не могу придумать, а положение ужасное — посмотрите, например: так разбились штиблеты, что в Одессу не в чем поехать... Слава богу, что милые Карышевы приютили, а то бы хоть красть...»

В это чудесное лето, в южные тёплые звёздные ночи мы с ним без конца скитались и сидели на обрывах над бледным летаргическим морем, и я всё приставал к нему, чтобы он что-нибудь написал, хотя бы просто для заработка. «Да меня же никуда не примут», —

жалостливо скулил он в ответ. «Но ведь вы уже печатались!» — «Да, а теперь, чувствую, напишу такую ерунду, что не примут». — «Я хорошо знаком с Давыдовой, издательницей „Мира божьего“, — ручаюсь, что там примут». — «Очень благодарю, но что ж я напишу? Ничего не могу придумать!» — «Вы знаете, например, солдат, — напишите что-нибудь о них. Например, как какой-нибудь молодой солдат ходит ночью на часах и томится, скучает, вспоминает деревню...» — «Но я же не знаю деревни!» — «Пустяки, я знаю, давайте придумывать вместе...» Так и написал он свою «Ночную смену», которую мы послали в «Мир божий», потом ещё какой-то рассказик, который я немедленно отвез в Одессу, в «Одесские новости», — сам он почему-то «ужасно боялся», — и за который мне удалось тут же схватить для него двадцать пять рублей авансом. Он ждал меня на улице и, когда я выскочил к нему из редакции с двадцатипятирублевкой, глазам своим не поверил от счастья, потом побежал покупать себе «штиблеты», потом на лихаче помчал меня в приморский ресторан «Аркадию» угощать жареной

скумбрией и белым бессарабским вином... Сколько раз, сколько лет и какой бешеной скороговоркой кричал он мне во хмелю впоследствии:

— Никогда не прощу тебе, как ты смел мне благодетельствовать, обувать меня, нищего, босого!

Странно вообще шла наша дружба в течение целых десятилетий: то бывал он со мной нежен, любовно называл Ричардом, Альбертом, Васей, то вдруг озлоблялся, даже трезвый: «Ненавижу, как ты пишешь, у меня от твоей изобразительности в глазах рябит. Одно ценю, ты пишешь отличным языком, а кроме того, отлично верхом ездешь. Помнишь, как мы закатывались в Крыму в горы?» Про хмельного я уж и не говорю: во хмелю, в который он впадал, несмотря на всё своё удивительное здоровье, от одной рюмки водки, он лез на ссоры чуть не со всяким, кто попался ему под руку. Дикая горячность его натуры была вообще совершенно поразительна, равно как и переменчивость настроений. Чем больше я узнавал его, тем всё больше думал,

что нет никакой надежды на его мало-мальски правильную, обыденную жизнь, на планомерную литературную работу: мотал он своё здоровье, свои силы и способности с расточительностью невероятной, жил где попало и как попало с бесшабашностью человека, которому всё трын-трава...

Первые годы нашего знакомства чаще всего мы встречались в Одессе, и тут я видел, как он опускается всё больше и больше, дни проводит то в порту, то в самых низких кабачках и пивных, ночует в самых страшных номерах, ничего не читает и никем не интересуется, кроме портовых рыбаков, цирковых борцов и клоунов... В эту пору он особенно часто говорил, что писателем он стал совершенно случайно, хотя с великой страстью, даже сладострастием предавался при встречах со мной смакованию всяких острых художественных наблюдений и очень часто проявлял какие-то едкие душевные склонности — охоту, например, к издевательствам над людьми. «Взять какого-нибудь болвана, — часто говорил он с упоением, взять какую-нибудь самолюбивую бездарность и одурачить

её самыми бесстыдными похвалами, вообще всячески „развертеть“ её, — да что же может быть слаще этого?»

Потом в жизни его вдруг выступил резкий перелом: он попал в Петербург, вошёл в близость с литературной средой, неожиданно женился на дочери Давыдовой, в дом которой я ввёл его, стал хозяином «Мира божьего», потому что Давыдова умерла через несколько дней после того, как он совершенно внезапно сделал предложение её дочери, жить стал в достатке, с замашками барина, всё больше делаясь своим человеком и в высших литературных кругах, главное же, стал много писать и каждой своей новой вещью завоёвывал себе всё больший успех. В эту пору, он написал свои лучшие вещи: «Конокрад», «Болото», «Трус», «Река жизни», «Гамбринус»... Когда появился его «Поединок», слава его стала особенно велика...

Восемнадцать лет тому назад, когда мы жили с ним и его второй женой уже в Париже, — самыми близкими соседями, в одном и том же доме, — и он пил особенно много, доктор, осмотревший его, однажды твёрдо сказал

нам: «Если он пить не бросит, жить ему осталось не больше шести месяцев». Но он и не подумал бросить пить и держался после того ещё лет пятнадцать, «молодцом во всех отношениях», как говорили некоторые. Но всему есть предел, настал конец и редким силам моего друга: года три тому назад, приехав с юга, я как-то встретил его на улице и внутренне ахнул: и следа не осталось от прежнего Куприна! Он шёл мелкими, жалкими шажками, плёлся такой худенький, слабенький, что, казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кротостью, что у меня слёзы навернулись на глаза. Как-то я получил от него открытку в две-три строчки, — такие крупные, дрожащие каракули и с такими нелепыми пропусками букв, точно их выводил ребёнок... Всё это и было причиной того, что за последние два года я не видел его ни разу, ни разу не навестил его: да простит мне бог — не в силах был видеть его в таком состоянии.

Прошлым летом, проснувшись утром под Парижем в поезде, на возвратном пути из

Италии, и развернув газету, подаренную мне вагонным проводником, я был поражён совершенно неожиданным для меня известием:

«Александр Иванович Куприн возвратился в СССР...»

Никаких политических чувств по отношению к его «возвращению» я, конечно, не испытал. Он не уехал в Россию, — его туда увезли, уже совсем больного, впавшего в младенчество. Я испытал только большую грусть при мысли, что уже никогда не увижу его больше.

-

Перечитывая Куприна, думая, между прочим, о времени его славы, вспоминаю его отношение к ней. Другие — Горький, Андреев, Шаляпин — жили в непрестанном упоении своими славками, в непрерывном чувствовании их не только на людях, на всяких публичных собраниях, но и в гостях, другу друга, в отдельных кабинетах ресторанов — сидели, говорили, курили с ужасной неестественностью, каждую минуту подчеркивали избранность своей компании и свою фальшивую дружбу этими к каждому слову прибавляемы-

ми «Ты, Алексей, ты, Леонид, ты, Федор...». А Куприн, даже в те годы, когда мало уступал в российской славе Горькому, Андрееву, нёс её так, как будто ничего нового не случилось в его жизни. Казалось, что он не придаёт ей ни малейшего значения, дружит, не расстаётся только с прежними и новыми друзьями и собутыльниками вроде пьяницы и босяка Маныча. Слава и деньги дали ему, казалось, одно — уже полную свободу делать в своей жизни то, чего моя нога хочет, жечь с двух сторон свою свечу, посылать к чёрту всё и вся.

— Я не честолюбив, я самолюбив, — как-то сказал я ему по какому-то поводу.

— А я? — быстро спросил он. И на минуту задумался, сощурился, по своему обыкновению, глаза и пристально вглядываясь во что-то вдали. Потом зачастил своей армейской скороговоркой: — Да, я тоже. Я самолюбив до бешенства и от этого застенчив иногда до низости. А на честолюбие не имею даже права. Я писателем стал случайно, долго кормился чем попало, потом стал кормиться рассказами, — вот и вся моя писательская история.

Он это часто повторял — «я стал писателем случайно». Это, конечно, неправда, опровергается его же собственными автобиографическими признаниями в «Юнкерах». Но вот что правда — это то, что, выйдя из полка и кормясь потом действительно чем попало, он кормился, между прочим, при какой-то киевской газетке не только журнальной работой, но и «рассказишками». Он мне говорил, что эти «рассказишки» он сбывал «за сущие гроши, но очень легко», а писал «на бегу, на лету, посвистывая» и ловко попадая, по своей талантливости, во вкус редактору и читателям. И с той же ловкостью он продолжал писать — уже не для киевской газетки, а для толстых журналов.

Я сказал: «по своей талантливости». Нужно сказать сильнее — большой талантливости. Всем известно, в какой среде он рос, где и как провёл свою молодость и с какими людьми общался всю свою последующую жизнь.

А что он читал? И где и когда? В своем автобиографическом письме к критику Измайлову он говорит:

— Когда я вышел из полка, самое тяжелое было то, что у меня не было никаких знаний, ни научных, ни житейских. С ненасытимой и до сей поры жадностью я на-кинулся на жизнь и книги...

Но надолго ли накиннулся он на книги (если только правда, что «накиннулся»)? Во всяком случае, слова «и до сей поры» — весьма сомнительны. Всё его развитие, всё образование совершалось тоже «на лету», давалось ему и усваивалось им по его способностям легко, следствием чего и вышло то, что в смысле — как бы это сказать? — интеллигентности, что ли, — уровень его произведений был вполне обычный. Нужно помнить ещё и то, что он всю жизнь пил, так что даже удивительно, как он мог при этом писать, да ещё нередко так ярко, крепко, здраво, вообще в полную противоположность с тем, как он жил, каким был в жизни, а не в писательстве.

Как он жил, каким он был в жизни, известно. И вот что замечательно: та разница, которая была между тем, как он жил и как писал. Критики без конца говорили о необыкновеннейшей «стихийности», «непосредственно-

сти» его произведений, о той «первичности переживаний, которыми они пленяют». Читаешь о нём и сейчас то же самое: «Помешали Куприну стать великим писателем только стихийность его дарований и истинно русская небрежливость, слишком большое доверие к „нутру“, в ущерб законченности и отделанности во всех смыслах... то, что он „не кончил консерватории“, как говорили символисты о бытовиках... в своём творчестве Куприн, по самой природе своей, не-книжный человек, не вдохновлялся литературными сюжетами... Ни в нём, ни в его героях не было двойственности...» *Всё это требует больших оговорок.* Точно ли не было двойственности в нём? Жил он действительно «стихийно», «непосредственно», «по нутру» — тут ему и впрямь всякое море было по колено, тут он так не ценил ни своего тела, ни ума, ни сердца, ни своей репутации, что был и ещё долго будет притчей во языцех. А каким был как писатель? Нет, «консерваторию» он проходил (это уже другое дело, какую именно). И в силу его талантливости, той быстроты, с которой он набивал руку в писательстве, *далеко не всё*

*шло ему на пользу тут.*

Это ещё мелочи, — то, что немало было в его рассказах даже и средней поры его писательства таких пошлых выражений, как «шикарная женщина», «шикарный ресторан», «железный закон борьбы за существование», «его нежная, почти женственная натура содрогалась от грубых прикосновений действительности с её бурными, но суровыми нуждами», «стройная, грациозная фигура Нины, личико которой обрамляли пряди пепельных волос, неотступно носилась перед его умственным взором...» Это ещё полбеда, — беда в том, что в талантливость Куприна входил большой дар заражаться и пользоваться не только мелкими шаблонами, но и крупными, не только внешними, но и внутренними. И выходило так: требуется что-нибудь подходящее для киевской газетки? пожалуйста, — в пять минут сделаю и, если нужно, не побрезгаю писать вроде того, что «заходящее солнце косыми лучами освещало вершины деревьев...»; надо писать рассказ для «Русского богатства»? И за этим дело не постоит, — вот вам «Молох»:

«Заводской гудок протяжно ревел, возвещая начало рабочего дня. Густой, хриплый звук, казалось, выходит из-под земли и растопляется по её поверхности...»

Разве плохо для вступления в смысле литературности? Всё честь честью — вплоть до пошлого ритма этих двух предложений, который едва ли уступит ритму фразы о заходящем солнце с его косыми лучами. Всё как надо и дальше, есть всё, что требуется *по образцам данного времени*, и всё, что полагается для рассказа о «Молохе»: «Нежная, почти женственная натура» болезненно-нервного интеллигента, инженера Боброва, который доходит на своей «страдальческой» службе капитализму до морфинизма, «акула» капитализма Квашнин, выдающий замуж за своего служащего, подлого карьериста, эту «стройную, грациозную» Нину, дочь другого заводского служащего и возлюбленную Боброва, с целью сделать её своей любовницей, бунт доведённых до отчаяния голодом и холодом рабочих, пожар завода...

Я всегда помнил те многие большие достоинства, с которыми написаны его «Конокра-

ды», «Болото», «На покое», «Лесная глушь», «Река жизни», «Трус», «Штабс-капитан Рыбников», «Гамбринус», чудесные рассказы о балаклавских рыбаках и даже «Поединок» или начало «Ямы», но всегда многое задевало меня даже и в этих рассказах. Вот, например, в «Реке жизни», предсмертное письмо застрелившегося в номерах «Сербия» студента. «Не я один погиб от моральной заразы... Всё прошлое поколение выросло в духе набожной тишины, насильственного почтения к старшим, безличности и безгласности. Будь же проклято это подлое время, время молчания и нищенства, это благоденственное и мирное житие под безмолвной сенью благочестивой реакции!» Это ли не «литература»? Потом я долго не перечитывал его и, когда теперь решил перечесть, тотчас огорчился: я сперва стал только перелистывать его книги и увидел на них множество моих давнишних карандашных отметок. Вот кое-что из того, что я отмечал:

— Это была страшная и захватывающая картина (картина завода). Человеческий труд кипел здесь, как огромный и прочный меха-

низм. Тысяча людей собралась сюда с разных концов земли, чтобы, повинувшись железному закону борьбы за существование, отдать свои силы, здоровье, ум и энергию за один только шаг вперёд промышленного прогресса... («Молох».)

— Весь противоположный угол избы занимала большая печь, и с неё глядели, свесившись вниз, две детские головки с выгоревшими на солнце волосами... В углу, перед образом, стоял пустой стол, и на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с чёрным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас ему стало скучно и тяжело, как будто он пробыл здесь много, много часов в томительном и вынужденном бездействии...

— Окончив чай, он (мужик) перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся крошечный кусочек сахара бережливо положил обратно в коробочку...

— В оконное стекло билась и настойчиво жужжала муха, точно повторяя всё одну и ту же докучную, бесконечную жалобу...

— К чему эта жизнь? — говорил он (сту-

дент) со страстными слезами на глазах. — Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и смертях милых, ни в чём не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный кошмар... («Болото».)

— Станный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание... Он пронёсся по лесу низко, над самой землею, и стих... («Лесная глушь».)

— Он открывал глаза, и фантастические звуки превращались в простой скрип половиц, в звон колокольчиков на дышле; и по-прежнему расстилались и налево и направо спящие белые поля, по-прежнему торчала перед ним черная, согнутая спина очередного ямщика, по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы и мотались завязанные в узел хвосты...

— Позвольте представиться: местный пристав и так сказать, громовержец, Ирисов, Павел Афиногенович... («Жидовка».)

Право, трудно было не отмечать все эти тысячу раз петые и перепетые, обязательно «свешивающиеся с печки» детские головки,

этот вечный огрызок сахара, муху, которая «точно повторяла докучную жалобу», чеховского студента из «Болота», тургеневский «странный звук, внезапно пронесшийся по лесу», толстовскую дремоту в санях («по-прежнему равномерно двигались лошадиные крупы...»), этого громовержца пристава, фамилия которого уж непременно Ирисов или Гиацинтов, а отчество Афиногенович или Ардалионович — и опять это самое что ни на есть чеховское в «Мелюзге»: разговоры затерянных где-то в северных снегах учителя и фельдшера:

— Иногда учителю начинало казаться, что он, с тех пор как помнит себя, никуда не выезжал из Курши... что он только в забытой сказке или во сне слышал про другую жизнь, где есть цветы, сердечные, вежливые люди, умные книги, женские нежные голоса и улыбки...

— Я всегда, Сергей Фирсыч, думал, что это хорошо — приносить свою хоть самую малюсенькую пользу, — говорил учитель фельдшеру. — Я гляжу, например, на какое-нибудь прекраснейшее здание, на дворец или собор,

и думаю: пусть имя архитектора останется бессмертным на веки вечные, я радуюсь его славе, и я совсем ему не завидую. Но ведь и незаметный каменщик, который тоже с любовью клал свой кирпич и обмазывал его извёсткой, разве он также не может чувствовать счастья и гордости? И я часто думаю, что мы с тобой — крошечные люди, мелюзга, но если человечество станет когда-нибудь свободным и прекрасным...

В рассказе «Нарцисс» я отметил описание светского салона, какую-то баронессу и её приятельницу Бэтси, — да, это уж неизбежно: Бэтси! — и грозовой вечер, — «в густом, раскалённом воздухе чувствовалась надвигающаяся гроза», — и тот первый поцелуй влюбленных, который уже тысячу раз соединяли писатели с «надвигающейся грозой»... В «Яме» отметил то место, где «огоньки зажглись в зелёных длинных египетских глазах артистки», пение которой так потрясло девиц публичного дома, что даже сам автор воскликнул совершенно серьёзно: «Такова власть гения!»

Потом я стал читать дальше, взял первую попавшуюся под руку книгу, прочёл первый

рассказ и огорчился ещё больше. Книга эта начинается рассказом «На разъезде». Содержание его таково: едут по железной дороге в одном и том же купе случайно встретившиеся в пути какой-то молодой человек, молодая женщина, у которой была «тоненькая, изящная фигурка и развевающиеся пепельные волосы», и ее муж, гнусный старик-чиновник, изображённый крайне ядовито: «Господин Яворский не умел и не мог ни о чём говорить, кроме своей персоны, собственных ревматизмов и геморроев, и на жену смотрел, как на благоприобретённую собственность...» Этот старик день и ночь наставляет, пилит свою несчастную «собственность», ревнует её к молодому человеку, говорит и ему грубости и тем самым еще более раздувает загоревшуюся между молодыми людьми любовь, в которой они в конце концов и признаются друг другу на остановке на каком-то разъезде, где их поезд оказывается рядом с другим, встречным поездом, а признавшись, перебегают в этот поезд, решив бросить старика и соединиться навеки. Тут молодой человек страстно воскликнул: «Навсегда? На всю жизнь?» И мо-

лодая женщина «вместо ответа спрятала своё лицо у него на груди»...

Потом я перечитал то, что больше всего забыл: «Одиночество», «Святую любовь», «Ночлег» и военные рассказы: «Ночная смена», «Поход», «Дознание», «Свадьба»... Первые три рассказа опять оказались слабы: и по неубедительности фабул, и по исполнению, — написаны под Мопассана и Чехова и опять уж так ладно, так гладко, так умело... «У Веры Львовны вдруг явилось непреодолимое желание прильнуть как можно ближе к своему мужу, спрятать голову на сильной груди этого близкого человека, согреться его теплотой... То и дело легкие тучки набегали на светлый и круглый месяц и вдруг окрашивались причудливым золотым сиянием... Вера Львовна впервые в своей жизни натолкнулась на ужасное сознание, приходящее рано или поздно в голову каждого чуткого, вдумчивого человека, — на сознание той неумолимой, непроницаемой преграды, которая вечно стоит между двумя близкими людьми...» И в этом рассказе, как и в предыдущем, что ни слово, то пошлость. Но в военных рассказах

дело пошло уже иначе, я всё чаще стал внутренне восклицать: отлично! Тут опять всё немножко не в меру ладно, гладко, опытно, но всё это переходит в подлинное мастерство, всё другой пробы, особенно «Свадьба», рассказ, не заставляющий, не в пример прочим названным, думать: «Ох, сколько тут Толстого и Чехова!» — рассказ очень жестокий, отдающий злым шаржем, но и блестящий. А когда я дошёл до того, что принадлежит к поре высшего развития купринского таланта, к тому, что я выделил выше, — «Конокрады», «Болото» и так далее, — я, читая, уже не мог думать о недостатках этих рассказов, хотя в числе их есть и крупные: то дешёвая идейность, желание не отстать от духа своего времени в смысле обличительности и гражданского благородства, то заранее обдуманное намерение поразить драматической фабулой и почти свирепым реализмом... Я уже не думал о недостатках, я только восхищался разнообразными достоинствами рассказов, тем, что преобладает в них: свободой, силой, яркостью повествований, его метким и без излишества щедрым языком...

Вот еще статья о нем — строки человека, долго и близко его знавшего, известного критика Пильского:

— Куприн был откровенен, прям, быстр на ответы, в нём была радостная и открытая пылкость и бесхитрость, тёплая доброта ко всему окружающему... Временами его серо-синие глаза освещались чудесным светом, в них сияли и трепетали крылья таланта... Он до самых последних лет мечтал о совершенной независимости, о героической смелости, его восхищали времена «железных времен, орлов и великанов»...

В этом дурном роде будут ещё немало писать, будут опять и опять говорить, сколько было в Куприне «первобытного, звериного», сколько любви к природе, к лошадям, собакам, кошкам, птицам... В последнем есть, конечно, много правды, и я вовсе не хотел сказать, говоря о разнице между Куприным-писателем и Куприным-человеком, — таким, каким его характеризуют почти все, будто никак не проявлялся человек в писателе: конечно, всё-таки проявлялся, и чем дальше, тем всё больше. «Тёплая доброта Куприна ко все-

му живущему» или, как говорит другой критик, «купринское благословение всему миру», это тоже было. Однако надо помнить, что было только в последней поре жизни и творчества Куприна.

*1938*

# Семеновы и Бунины

«Государство не может быть иначе, яко к пользе и славе, ежели будут такие в нем люди, которые знают течение сил небесных и времени, мореплавание, географию всего света...» (Регламент императорской Российской Академии наук 1747 года).

К «таким» людям принадлежал и принадлежит Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, прославивший род Семеновых.

Я многое семейное узнал о нём от В. П. Семенова-Тянь-Шанского, его сына, живущего эмигрантом в Финляндии и порой родственно переписывающегося со мной (Семеновы родственники Буниным). От него же стало мне известно о печальной участи обширных мемуаров, оставленных его отцом. Их вышел всего первый том (во всем зарубежье существующий только в одном экземпляре). В. П. прислал мне этот том на прочтение и рассказал историю второго, печатание которого совпало с революцией и к октябрьскому перевороту доведено было всего до одиннадцатого листа, на чём и остановилось. <...> Так, повто-

ряю, книга и застряла на одиннадцатом листе, и что с ней случилось, не знает, кажется, и сам В. П. (вскоре после того покинувший Россию). Он мне писал о ней только то, что сказано выше, и прибавлял: «В этом втором томе описывается экспедиция отца в Среднюю Азию. В нём много ценного научного материала, но есть страницы, интересные и для широкой публики, — например, рассказ о том, как отец встретился в Сибири с Достоевским, которого он знал в ранней молодости, — как есть таковые же и в третьем и в четвертом томах, ярко рисующие настроения разных слоев русского общества в конце пятидесятых годов, затем эпоху великих реформ Александра II и его сподвижников...»

О Достоевском говорится и в первом томе, который некоторое время был у меня в руках. Этим страницам предшествует рассказ о кружке Петрашевского и о самом Петрашевском.

— Мы собирались у Петрашевского регулярно по пятницам, — рассказывает П. П. — Мы охотно посещали его больше всего потому, что он имел собственный дом и возмож-

ность устраивать для нас приятные вечера — сам он всем нам казался слишком эксцентричным, если не сказать, сумасбродным. Он занимал должность переводчика в министерстве иностранных дел. Единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в этом качестве на процессы иностранцев или на описи вымороченных имуществ, особенно библиотек. Тут он выбирал для себя все запрещённые иностранные книги, подменяя их разрешёнными, и составлял из них свою собственную библиотеку, которую и предлагал к услугам всех своих знакомых. Будучи крайним либералом, атеистом, республиканцем и социалистом, он являл собой замечательный тип прирожденного агитатора. Всюду, где было можно, он проповедовал смесь своих идей с необыкновенной страстностью, хотя и без всякой связности и толковости. Для целей своей пропаганды он, например, стремился стать учителем в военно-учебных заведениях, заявляя, что может преподавать целых одиннадцать предметов; когда же был допущен к испытанию по одному из них, начал свою пробную лекцию так: «На этот предмет мож-

но смотреть с двадцати точек зрения...» — и действительно изложил их все, хотя в учителя так и не был принят. В костюме своём он отличался тоже крайней оригинальностью: носил всё то, что так строго преследовалось тогда, то есть длинные волосы, усы, бороду, ходил в какой-то испанской альмавиве и в цилиндре с четырьмя углами... Один раз он пришёл в Казанский собор в женском платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся; тут его несколько разбойничья физиономия и чёрная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на себя изумленное внимание соседей; к нему подошел наконец квартальный надзиратель со словами: «Милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина»; но он дерзко ответил: «Милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина», и так смутил квартального, что мог, воспользовавшись этим, благополучно исчезнуть из собора...

— Вообще наш кружок, — говорит мемуарист далее, — не принимал Петрашевского всерьёз; но вечера его всё же процветали, и на них появлялись всё новые и новые лица.

На этих вечерах шли оживленные разговоры, в которых писатели облегчали свою душу, жалуясь на жестокие цензурные притеснения, бывали литературные чтения, делались рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем освещением, которое недоступно было тогда печатному слову, лились пылкие речи об освобождении крестьян, которое казалось нам столь несбыточным идеалом, Н. Я. Данилевский выступал с целым рядом докладов о социализме, о фурьеризме, которым он в ту пору особенно увлекался, Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и страстно обличал злоупотребления помещиков крепостным правом...

Переходя к Достоевскому, автор говорит, что первое знакомство его с ним произошло как раз в то время, когда Достоевский вошёл в славу своим романом «Бедные люди», рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать кружки Петрашевского и Дурасова.

— Вообще я знал его довольно долго и

близко, — говорит он. — И вот что, между прочим, мне хочется сказать. Никак не могу, например, согласиться с утверждением многих, будто Достоевский был очень начитанный, но необразованный человек. Я утверждаю, что он был не только начитан, но и образован. В детские годы он получил прекрасную подготовку в отцовском доме, вполне овладел французским и немецким языками, так что свободно читал на них; в Инженерном училище систематически и усердно изучал, кроме общеобразовательных предметов, высшую математику, физику, механику; а широким дополнением к его специальному образованию послужила ему его большая начитанность. Во всяком случае, можно смело сказать, что он был гораздо образованней многих тогдашних русских литераторов. Лучше многих из них знал он и русский народ, деревню, где жил в годы своего детства и отрочества, и вообще был ближе к крестьянам, к их быту, чем многие из зажиточных писателей-дворян, что, кстати сказать, не мешало ему очень чувствовать себя дворянином, какковым он и был на самом деле, а кое в чём

проявлять даже излишние барские замашки. Немало говорили и писали о той нужде, в которой Достоевский будто бы находился в молодости. Но нужда эта была весьма относительна. По-моему, не с действительной нуждой боролся он тогда, а с несоответствием своих средств и своих желаний. Помню, например, нашу с ним лагерную жизнь и те денежные требования, которые он предъявлял своему отцу на лагерные расходы. Я жил почти рядом с ним, в такой же полотняной палатке, как и он, обходился без своего чаю, без своих собственных сапог, без сундука для книг, получал на лагерь всего-навсего десять рублей — и был спокоен, хотя учился в богатом, аристократическом заседании; а для Достоевского всё это составляло несчастье, он никак не хотел отставать от тех наших товарищей, у которых был и свой чай, и свои сапоги, и свой сундук, траты которых на лагерь колебались от сотен до тысяч рублей...

В этом первом томе мемуаров Семенова много говорится о нашем, бунинском, роде, к которому Семеновы принадлежат по женской линии, и, в частности, об Анне Петровне Бу-

ниной. Совсем недавно была и её годовщина — столетие со времени её смерти. Годовщина эта тоже никому не вспомнилась, а меж тем заслуживала бы и она того. Если принять во внимание время, в которое жила Бунина, нельзя не согласиться с теми, которые называли её одной из замечательных русских женщин. Помимо мемуаров Семенова, сведения о ней можно найти в одной давней статье, принадлежавшей Александру Павловичу Чехову. Теперь, говорит он, имя Буниной встречается только в истории литературы, да и то потому, может быть, что портрет её ещё доньше висит в стенах Академии наук. Но в свою пору оно было очень известно, стихи Буниной читались образованной публикой с большой охотой, расходились быстро и вызывали восторженные отзывы критики. Их хвалил сам Державин, публично читал Крылов, ими восторгался Дмитриев, бывший ближайшим другом Буниной. Греч говорил, что Бунина «занимает отличное место в числе современных писателей и первое между писательницами России», а Карамзин прибавлял: «Ни одна женщина не писала у

нас так сильно, как Бунина». Императрица Елизавета Алексеевна пожаловала ей золотую лиру, осыпанную брильянтами, «для ношения в торжественных случаях», Александр Благословенный назначил ей крупную пожизненную пенсию, Российская Академия наук издала собрание её сочинений. Слава её кончилась с её смертью, и всё-таки даже сам Белинский лестно вспоминал её в своих литературных образах.

Отец Анны Петровны был владельцем известного села Урусова, в Рязанской губернии. Там и родилась она — в 1774 году. П. П. Семенов говорит, что отец дал трём её братьям чрезвычайно хорошее по тому времени воспитание. Старший принадлежал к образованнейшим людям своего века, прекрасно знал многие иностранные языки, состоял в масонской ложе; младшие служили во флоте, причём один из них, во время войны Екатерины II со шведами, попал в плен и был определён шведским королём в Упсальский университет, где и окончил свое образование. На долю А. П. выпала впоследствии большая честь — она стала членом Российской Академии на-

ук. А меж тем первоначальное её образование было более чем скучно, ибо образование девиц считалось тогда ненужной роскошью. Образования она достигла в силу своей собственной воли и желания, после того как её старший брат стал возить её в Москву и ввёл в круг своих друзей из литературного и вообще просвещённого общества. Тут она встрети-лась и сблизилась, между прочим, с Мерзляковым, Капнистом, князем А. А. Шаховским, Воейковым, В. А. Жуковским, В. Л. Пушкиным. В последующее время на её развитие имели большое влияние Н. П. Новиков и Карамзин, «которому больше всего и обязана она была в своём правильном и изящном литературном языке». Она зачитывалась «Московским журналом», выходившим под его издательством, потом встречалась с ним в обществе, носившем название «Беседы любителей русского слова». Общество это организовалось в Петербурге в 1811 году. В нём было двадцать четыре действительных и тридцать два почетных члена, в число которых была избрана и Анна Петровна. Основателем «Беседы» был Шишков, и состояли в ней Крылов, Державин, Ша-

ховской, Капнист, Озеров и даже сам Сперанский. Цель её была — «противодействие тем нововведениям, которые вносил в русский язык Карамзин, проведение в жизнь подражания образцам славянского языка, преследование карамзинского направления», — и весьма курьёзно было то, что и сам Карамзин был её членом.

Дальнейшую судьбу А. П. очень изменила смерть её отца. После этой смерти она переехала жить к своей сестре, Марье Петровне Семеновой, получив наследство, дававшее ей шестьсот руб. годового дохода. Она была теперь свободна и самостоятельна. И пользуясь этим, прожила очень недолго у Семеновой. В 1802 году зять её, Семенов, отправился в Петербург. А. П. упростила его взять её с собою и, попав в столицу, отказалась возвращаться назад в деревню. Зять её был «весьма фраппирован» этим, уговаривал её отказаться от своего намерения — она всё же от него не отказалась. В Петербург она приехала будто бы только для того, чтобы повидаться с своим братом — моряком. Когда же решила поселиться в столице, стал и брат уговаривать её

вернуться в деревню, но тоже напрасно. Затем Семенов уехал в деревню, брат вскоре отправился в поход, и она оказалась в столице совсем одна. Это было по тем временам совсем необычно. Но её ничуть не смутило. Более того: она наняла себе на Васильевском острове совсем отдельную квартиру, «взяв к себе для услуг некую степенную женщину».

Добившись своего, она деятельно и с изумительной энергией принялась за самообразование, несмотря на то, что в это время ей шёл уже двадцать восьмой год. Она стала учиться французскому, немецкому и английскому языкам, физике, математике и главным образом российской словесности. Успехи были очень быстрые. Возвратившийся из похода брат был поражен количеством и основательностью приобретенных ею познаний. Но эти же приобретения, обогатив её ум, вместе с тем и разорили её материально: живя в Петербурге, она истратила весь свой наследственный капитал. Положение её становилось ужасно, она принуждена была войти в долги. Но тут брат поспешил познакомить её с петербургскими литераторами, которым

она и показала свои первые произведения. Её одобрили, ей помогли печататься. Первое стихотворение её, «С приморского берега», появилось в печати в 1806 году; за этим последовал целый ряд нового и дал ей такой успех в публике, что она собрала свои стихи и рискнула выпустить отдельным изданием, которое и вышло в свет под заглавием «Неопытная Муза». Издание это было поднесено императрице Елизавете Алексеевне и было награждено сперва вышеупомянутой «лирой, осыпанной бриллиантами», а затем ежегодной пенсией в четыреста рублей в год. С этого времени начинается уже слава Буниной. В 1811 году она выпустила новый том своих стихотворений, «Сельские вечера», который тоже разошёлся очень быстро. Затем она напечатала свою «Неопытную Музу» вторым изданием, в двух томах. Это издание тоже имело большой успех. А двенадцатый год принёс ей «высшие лавры»: тут она выступила с патриотическими гимнами, «снискав себе вящее монаршее благоволение и ряд новых милостей». Но это были уже последние её радости: вскоре после того у неё открылся рак в груди,

который всю остальную жизнь её превратил в непрерывную цепь страданий и наконец свёл её в могилу.

Было сделано всё, чтобы спасти её или хотя бы облегчить её участь. И двор и общество, почитавшее её не только за её поэтические заслуги, но и за высокие умственные и нравственные качества, проявили к ней большое участие. Государь пожелал, чтобы к ней были приглашены светила медицины, лично заботился о том, чтобы лечение её было обставлено как можно лучше; для неё, за счет двора, нанимались на лето дачи, бесплатно отпускались лекарства «из главной аптеки»; бесплатно же посещали её и придворные медики. Затем решено было прибегнуть к последнему средству, в которое тогда весьма верили: к поездке в Англию, особенно славившуюся в то время своими врачами. Путевые издержки её принял на себя опять сам государь, «проводил её Петербург с большим триумфом». Но и Англия не помогла. А. П. пробыла за границей два года и возвратилась оттуда такою же больной, как уехала. Прожила она после того ещё двенадцать лет, но почти уже не писа-

ла, — только выпустила в 1821 году полное собрание своих сочинений в трёх книгах, снова награждённое от двора, на этот раз пожизненной пенсией в две тысячи рублей. Жила она эти последние годы то у родных, в деревне, то в Липецке, то на Кавказских водах, всюду ища облегчения от своих страданий. «Рак в груди довёл своё разрушительное дело уже до того, что она не могла лежать и проводила большую часть времени в единственно возможной для неё позе — на коленях». Так, на коленях, и писала она:

*Любить меня иль нет, жалеть  
иль не жалеть  
Теперь, о ближние! вы можете по  
воле...*

Последние дни свои она провела за переводом проповедей Блэра и за непрерывным чтением книг Священного писания. Скончалась 4 декабря 1829 года, в селе Денисовке, Рязанской губернии, у своего племянника Д. М. Бунина. Тело её погребено в её родном селе Урусове. На могиле её, может быть, и до сих пор стоит скромный памятник, в свое время возобновлённый П. П. Семеновым-Тянь-Шан-

ским. В его мемуарах приводится милая надпись, сделанная ему А. П. на переводе проповедей Блэра, на книжечке в красном сафьяновом переплете:

«Дорогому Петеньке Семенову в чаянии его достославной возмужалости».

*1932*

# Эртель

Он теперь почти забыт, а для большинства и совсем неизвестен. Удивительна была его жизнь, удивительно и это забвение. Кто забыл его друзей и современников — Гаршина, Успенского, Короленко, Чехова? А ведь, в общем, он был не меньше их, — за исключением, конечно, Чехова, — в некоторых отношениях даже больше.

Двадцать лет тому назад, в Москве, в чудесный морозный день, я сидел в его кабинете, в залитой солнцем квартире на Воздвиженке, и, как всегда при встречах с ним, думал:

«Какая умница, какой талант в каждом слове, в каждой усмешке! Какая смесь мужественности и мягкости, твёрдости и деликатности, породистого англичанина и воронежского прасола! Как всё мило в нём и вокруг него: и его сухощавая, высокая фигура в прекрасном английском костюме, на котором нет ни единой пушинки, и белоснежное бельё, и крупные с рыжеватыми волосами руки, и висячие русые усы, и голубые меланхо-

личные глаза, и янтарный мундштук, в котором душисто дымится дорогая папироса, и весь этот кабинет, сверкающий солнцем, чистотой, комфортом! Как поверить, что этот самый человек в юности двух слов не умел связать в самом невзыскательном уездном обществе, плохо знал, как обращаться с салфетками, писал с нелепейшими орфографическими ошибками?»

В этой же самой квартире он вскоре и умер — от разрыва сердца.

Через год после того вышли в свет семь томов собрания его сочинений (рассказов, повестей и романов) и один том писем. К роману «Гарденины» было приложено предисловие Толстого. К письмам — его автобиография и статья Гершензона: «Мировоззрение Эртеля».

Толстой писал о «Гардениных», что, «начав читать эту книгу, не мог оторваться, пока не прочёл её всю и не перечёл некоторых мест по несколько раз». Он писал:

«Главное достоинство, кроме серьезного отношения к делу, кроме такого знания народного быта, какого я не знаю ни у одного писателя, — неподражаемое, не встречаемое

нигде достоинство этого романа есть удивительный по верности, красоте, разнообразию и силе народный язык. Такого языка не найдешь ни у старых, ни у новых писателей. Мало того, что народный язык его верен, силен, красив, он бесконечно разнообразен. Старик-дворовый говорит одним языком, мастеровой другим, молодой парень третьим, бабы четвертым, девки опять иным. У какого-то писателя высчитали количество употребляемых им слов. Я думаю, что у Эртеля количество это, особенно народных слов, было бы самое большое из всех русских писателей, да ещё каких верных, хороших, сильных, нигде, кроме как в народе, не употребляемых слов. И нигде эти слова не подчеркнуты, не преувеличена их исключительность, не чувствуется того, что так часто бывает, что автор хочет щегольнуть, удивить подслушанным им словечком...»

Это знание народа станет вполне понятно, когда просмотришь автобиографию Эртеля.

— Я родился, — говорит он, — 7 июня 1855 года. Дед мой был из берлинской бюргерской семьи, юношей попал в армию Наполеона и

под Смоленском был взят в плен, а затем увезён одним из русских офицеров в воронежскую деревню. Там он вскоре перешёл в православие, женился на крепостной девушке, приписался в воронежские мещане и всю последующую жизнь прожил управляющим в господских имениях. Эту же должность наследовал и отец мой, тоже женившийся на крепостной. Человек он был весьма мало образованный, но любил читать, — преимущественно исторические книги, — и не чужд был так называемым вопросам политики и даже своего рода философии; к прекрасным чертам его характера нужно отнести большую доброту при наружной суровости, довольно чуткое чувство справедливости и чрезвычайную трезвость ума, почти совершенно совпадавшую со взглядами великорусского крестьянина. Что до моей матери, незаконной дочери одного задонского помещика, то, в противоположность отцу, она была не прочь и от чувствительности, и даже мечтательного романтизма...

— Выучила читать меня она, писать же я выучился сам, сначала копируя с книг печат-

ные буквы. Затем мой крёстный, тот помещик Савельев, у которого отец долго был управляющим, предложил отцу взять меня к себе в дом. Жена Савельева была француженка, актриса из какого-то бульварного театра в Париже почти совсем не говорила по-русски, очень скучала и привязалась ко мне, как к игрушке, рядила меня, кормила лакомствами... Впрочем, всё это длилось недолго. Отец поссорился с Савельевым, потерял место — и я был обращён в «первобытное состояние». Тогда мы почти год бедствовали на квартире у одного знакомого мужика, пока отец не снял в аренду хутор...

— Я пользовался совершенной свободой делать, что мне угодно: играть с деревенскими ребятами, читать когда и что захочу... Когда отец взялся «приучать меня к хозяйству», мне было тринадцать лет. Я в то время знал четыре арифметики, «Историю Наполеона», «Кощея Бессмертного», «Путешествие Пифагора», «Стеньку Разина» Костомарова, второй том «Музея иностранной литературы», «Песни Кольцова», «Сочинения Пушкина», старинный конский лечебник, Священную исто-

рию с картинками, комедию Чадаева «Дон Педро Прокодурнате». Затем я самоучкой выучился читать по-церковному и несколько раз перечитал «Киевский Патерик» и несколько книг Четьи-Минеи... Лет шестнадцати я познакомился с усманским купцом Богомоловым, и он снабдил меня сочинениями Дарвина «О происхождении человека» и книжками «Русского слова», в которых я с огромным увлечением прочитал статьи Писарева...

— Отец сделал меня своим помощником по хозяйству, но я настолько держался за папашину брата с простым народом, что иногда отец грозился меня бить за это и действительно раза три бил... Я был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне «на улице», на посиделках, на свадьбах, везде, где собирался молодой деревенский народ... Отец решил, наконец, что мои дружественные и фамильярные отношения с деревней положительно мешают мне обладать авторитетом, нужным для приказчика, и согласился на то, чтобы я искал себе должность где-нибудь в другом месте; и вскоре после того я занял долж-

ность конторщика в одном соседнем имении... Железную дорогу я увидел в первый раз, когда мне стало шестнадцать лет; Москву и Петербург — двадцати трех...

Дальнейшее довольно типично для того времени, для самоучки, «рвущегося к свету, к прогрессу»: новое знакомство с новым чудачком-купцом, который «посреди грязи и пошлости торгового люда» был одержим истинной страстью к этому «прогрессу» и к чтению; знакомство с его дочерью, которая взялась руководить развитием молодого «дикаря» и с которой вскоре завязался «книжный роман», кончившийся свадьбой; затем попытка завести своё хозяйство в арендованном на грошовое приданое жены имении и крушении этой попытки, — «я, считавшийся дельным хозяином в чужом богатом имении, оказался никуда не годным в своём маленьком», — и наконец переезд в Петербург (благодаря случайному знакомству с писателем Засодимским, как-то заехавшим в Усмань) и начало типичной писательской жизни в среде наиболее «передовых» представителей тогдашней литературы, жизни в такой бедности, что

у молодого писателя вскоре обнаружили задатки чахотки, и с таким увлечением «передовыми» идеями, что пришлось даже посидеть в Петропавловской крепости, а потом пожить в ссылке в Твери. Однако типичность эта тут и кончается. Совсем не типичной оказалась быстрота развития этого «дикаря», быстрота превращения его в настоящего культурного человека, его необычайный духовный и художественный рост и, главное, самостоятельность вкусов, взглядов и стремлений, уже и тогда далеко не во всём совпадавших с тем, что полагалось иметь всем этим Засодимским, Златовратским. «Даже и в пору увлечения Засодимским, — говорит Эртель, — меня не покидала отцовская струйка: здравый смысл. Я, например, чувствовал, что знаю жизнь лучше и глубже его особенно жизнь народную, бытописателем которой он считал себя. Умел я и людей узнавать лучше его — этому помогали мои занятия хозяйством, деловые отношения с купцами, крестьянами, кулаками, кабатчиками, барышниками, словом, всё то, что шло у меня рядом с любовью к народу, с сетованиями о его нужде,

печaliaх, с увлечением туманными идеалами образованности, прогресса, свободы, равенства и братства...»

Этот-то «здравый смысл» (если уж употреблять столь чрезмерно скромное выражение) и сделал Эртеля такой крупной и своеобразной фигурой, как в жизни, так и в литературе. Гершензон совершенно справедливо говорит, что «нельзя вообразить себе более резкого контраста, нежели тот, который представляет фигура Эртеля среди худосочной и вялой русской интеллигенции восьмидесятых годов». Да и жизнь его, повторяю, была лишь очень короткое время более или менее типичной жизнью интеллигента из разночинцев. Вскоре она опять стала (даже и внешне) чрезвычайно непохожа на таковую: после Твери Эртель только временами жывал в столицах или за границей, — он опять вернулся в деревню, к сельскому хозяйству и почти до самого своего конца отдавал ему половину всех своих сил, сперва арендуя лично для себя клочок земли на родине, а затем управляя огромнейшими и богатейшими барскими имениями (одно время даже сразу несколькими, раз-

брошенными в целых девяти губерниях, то есть «целым царством», как писал он мне однажды).

Гершензон считает, что Эртель даже и как мыслитель был явлением «замечательным», что мировоззрение его «представляет собой чрезвычайно оригинальную и ценную систему идей». Сила мышления Эртеля, говорит он, была в той области, которую Кант отводит «практическому разуму». Эртель был прежде всего человеком дела. Ему дана была от природы огромная жизнеспособность, он был ярким представителем делателей жизни, обладал страстной жаждой быть в непрерывной смене явлений и действий. И вот этим-то и определялся характер его мировоззрения.

Всё это мировоззрение есть ответ на двойственный вопрос: что позволяет сделать жизнь и чего она требует? Вопрос об изначальной силе, движущей мир, и о конечной цели этого движения Эртель оставлял без рассмотрения.

Он, однако, не был рационалистом. Напротив, как раз живое чутьё действительности научило его тому, что в основе всего видимо-

го есть элемент невидимый, но не менее реальный, и что не учитывать его в практических расчётах значит рисковать ошибочностью всех расчётов. Оттого позитивизм казался ему нестерпимой бессмысленностью.

Он думал, что жизнь резко распадается на явления двух родов: на зависящие исключительно от воли «Великого Неизвестного, которого мы называем богом», то есть на такие, к которым мы должны относиться с безусловной покорностью, и на зависящие от нашей воли и устранимые, по отношению к которым борьба уместна и необходима.

Он верил, что существует абсолютная истина, но стоял лишь за условное осуществление её, любил говорить: «В меру, друг, в меру!» — то есть: не ускоряй насильственно этот поступательный ход истории. Безусловное понимание добра и зла и условное действие в осуществлении первого и в борьбе с последним — вот что нужно для всякой деятельности, в том числе для всякой протестующей, говорил он. Значит ли это, однако, что он проповедовал «умеренность и аккуратность»? Редко кто был менее умерен и аккуратен, чем

он, вся жизнь которого была страстной неумеренностью, «вечным горением в делах душевных, общественных и житейских, страдальческими поисками внешней и внутренней гармонии». Он сам нередко жаловался: «Всё не удаётся восстановить в своей жизни равновесия... То, что видишь вокруг и что читаешь, до такой степени надрыгает сердце жалостью к одним и гневом к другим, что просто беда...» И дальше (говоря о своем участии в помощи голодающим, которой он в начале девяностых годов отдавался целых два года с такой страстью, что совершенно забросил свои собственные дела и оказался в настоящей нищете): «Ещё раз узнал, что могу, до самозабвения, до полнейшего упадка сил, увлекаться так называемой общественной деятельностью...»

Он сурово осуждал русскую интеллигенцию, и прежде всего с практической точки зрения. Он говорил, что её вечный протест, обусловленный только «нервическим раздражением» или «лирическим отношением к вещам», бессилен, не ведёт к цели, ибо пафос сам по себе не есть какая-либо сущность, а

только форма проявления, сущностью же всякой борьбы является личное религиозно-философское убеждение протестующего и затем — понимание исторической действительности. Первое, что нужно русскому интеллигенту, говорил он, это проникнуться учением Христа, «который костью стал в горле господ Михайловских», без чего невозможна религиозная культура личности, а второе — глубокая и серьезная культура и исторический такт. Он говорил: «Всякие „Забытые слоёа“ оттого ведь и забываются столь быстро и часто, что мы их воспринимаем лишь нервами... Несчастье нашего поколения заключается в том, что у него совершенно отсутствовал интерес к религии, к философии, к искусству и до сих пор отсутствует свободно развитое чувство, свободная мысль... Людям, кроме политических форм и учреждений, нужен „дух“, вера, истина, бог... Ты скажешь: а всё же умели умирать за идею! Ах, легче умереть, нежели осуществить! Односторонне протестующее общество даже в случае победы может принести более зла, нежели добра... О, горек, тысячу раз горек деспотизм, но он отнюдь не ме-

нее горек, если проистекает от „Феденьки“, а не от Победоносцевых. Воображаю, что натворили бы „Феденьки“ на месте Победоносцевых! Что до нашего отношения к народу, то и тут не нужно никакой нормы, кроме той нравственной нормы, которою вообще должны определяться отношения между людьми, то есть закона любви, установленного Христом...»

«Мне думается, — писал он в своей записной книжке, возражая Толстому, последователем которого он был во многом, — я думаю, что раздать имение нищим — не вся правда. Нужно, чтобы во мне и в детях моих сохранилось то, что есть добро: знание, образованность, целый ряд истинно хороших привычек, а это всё большей частью требует не одной головной передачи, а наследственной. Отдавши имение, отдам ли я действительно всё, чем я обязан людям? Нет, благодаря чужому труду, я, кроме имения, обладаю ещё многим другим и этим многим должен делиться с ближним, а не зарывать его в землю...»

Вообще безусловное понимание истины и

условное осуществление её — один из заветных тезисов Эртеля. Всем существом он чувствовал, что прямолинейная принципиальность холодна, мертвенна, что теплота жизни только в компромиссе, что полное самоотречение такая же нелепость, как и всякое безусловное осуществление истины. «Любить одинаково своего ребенка и чужого — противоестественно. Достаточно, если твое личное чувство не погашает в тебе справедливости, которая не позволяет зарезать чужого ребенка ради удобства своего. Норма в той середине, где росток личной жизни цветёт и зреет в полной силе, не заглушая вместе с тем любви ко всему живущему...»

Умер этот удивительный по своей кипучей внутренней и внешней деятельности, по свободе и ясности ума и широте сердца человек слишком рано — всего 52 лет от роду. И перед смертью уже глубоко верил, что «смысл всех земных страданий открывается там». В отрочестве он пережил пору страстного религиозного чувства. Затем эти чувства сменились «сомнениями, попытками утвердить, на месте растущего неверия, веру в добро, в рево-

люционные и народнические учения, в учение Толстого... Но неизменно всё перемешалось в моей натуре». Он во многом и навсегда остался «другом всяческих свобод» и вообще интеллигентом своего времени. И всё-таки жизнь являлась ему «всё в новом освещении». Добро? Но оказалось, что слово это «звучало слишком пусто» и что нужно было «хорошенько подумать над ним». Народничество? Но оказалось, что «народнические грёзы суть грёзы, и больше ничего... Вот организовать (вне всякой политики) какой-нибудь огромный союз образованных людей с целью помощи всяческим крестьянским нуждам — это другое дело... Русскому народу и его интеллигенции, прежде всяких попыток осуществления „царства божия“, предстоит ещё создать почву для такого царства, словом и делом водворять сознательный и твёрдо поставленный культурный быт... Социализм? Но не думаешь ли ты, что он может быть только у того народа, где просёлочные дороги обсажены вишнями и вишни бывают целы? <...> Революция? Но к революции в смысле насилия я чувствую органическое отвраще-

ние... <...> Ведь ещё Герцен сказал, что иные вещи несравненно более жалко терять, нежели иных людей... Толстой? Но всех загнать в Фиваиду — значит оскотить и обесцветить жизнь... Нельзя всем предписать земледельческий труд, жестокое сопротивление злу, самоотречение до уничтожения личности... Сводить всю свою жизнь до роли „самаритянской“ я не хочу... Не было бы тени — не было бы борьбы, а что же прекраснее борьбы! Народ? Я долго писал о нём, обливаясь слезами...» Но идут годы — и что же говорит этот народолюбец? «Нет, никогда ещё я так не понимал некрасовского выражения „любя ненавидеть“, как теперь, купаясь в аду подлинной, а не абстрагированной народной действительности, в прелестях русского неправдоподобно жестокого быта... <...> Безверие? Но человек без религии существо жалкое и несчастное... Золотые купола и благовест — форма великой сущности, живущей в каждой человеческой душе...» И вот последние признания, незадолго до смерти:

«Страшные тайны бога недоступны моему рассудочному пониманию...»

«Верую, что смысл жизненных страданий и смерти откроется там...»

«Горячо верую, что жизнь наша не кончается здесь и что в той жизни будет разрешение всех мучительных загадок и тайн человеческого существования...»

*1929*

# Гегель, фрак, метель

Революционные времена не милостивы: тут бьют и плакать не велят, — плачущий считается преступником, «врагом народа», в лучшем случае — пошлым мещанином, обывателем. В Одессе, до второго захвата её большевиками, я однажды рассказывал публично о том, что творил русский «революционный народ» уже весной 1917 года и особенно в уездных городах и в деревнях, — я в ту нору приехал в имение моей двоюродной сестры в Орловской губернии, — рассказал, между прочим, что в одном господском имении под Ельцом мужики, грабившие это имение, оцципали догола живых павлинов и пустили их, окровавленных, метаться, тыкаться куда попало с отчаянными воплями, и получил на этот рассказ жестокий нагоняй от одного из главных сотрудников одесской газеты «Рабочее Слово», Павла Юшкевича, напечатавшего в ней в назидание мне такие строки:

«К революции, уважаемый академик Бунин, нельзя подходить с мериллом и пониманием уголовного хроникёра, оплакивать ва-

ших павлинов — мещанство, обывательщина, Гегель недаром учил о разумности всего действительного!»

Я ответил ему в одесской добровольческой газете, которую редактировал тогда, что ведь и чума, и холера, и еврейские погромы могут быть оправданы, если уж так свято верить Гегелю, и что мне всё-таки жаль елецких павлинов: ведь они и не подозревали, что на свете существовал Гегель, и никак поэтому не могли им утешиться...

Всё это время я не раз вспоминал в Константинополе, когда, бежав из Одессы от большевиков, второй раз уже прочно овладевших ею, мы стали наконец (в начале февраля 1920 г.) эмигрантами и чувствовали себя в некотором роде тоже весьма ощипанными павлинами. Я часто бывал в Константинополе в прежние, мирные годы. Теперь, словно нарочно, попал в него в тринадцатый раз, и это роковое число вполне оправдало себя: в полную противоположность с прошлым, всё было крайне горестно теперь в Константинополе. Прежде я всегда видел его во всей красоте его весенних дней, веселым, шумным, при-

ветливым; теперь он казался нищим, был сумрачен, грязен то от дождя, то от таявшего снега, мокрый, резкий ветер валил с ног на его набережных и на мосту в Стамбул, турки были молчаливы, подавлены оккупацией союзников, их презрительной властью над ними, грустны и ласковы только с нами, русскими беженцами, ещё более бесправными, чем они, а несчастными уже до последнего предела, во всех смыслах. Меня то и дело охватывало в те константинопольские дни чувство радостной благодарности Богу за тот душевный отдых, что наконец послал Он мне от всего пережитого в России за три последних года. Но материальное положение наше не внушало радости: и мне и Н. П. Кондакову, с которым мы покинули Одессу и были неразлучны и в Константинополе, надо было искать прочного прибежища и средств к существованию в какой-нибудь славянской стране, — в Софии, в Белграде, в Праге, — где эмигрантам было легче всего как-нибудь устроиться. И вот, дождавшись наконец виз и первого поезда, — они были тогда ещё очень редки после всех тех разрушений, что произвела четырех-

летняя война и в Европе, и на Балканах, — мы уехали из Константинополя в Софию. Я имел официальное поручение устно осведомить нашего посла в Белграде о положении наших дел и на фронте и в тылу Одесской области, должен был поэтому посетить и Белград, — это давало мне к тому же надежду как-нибудь устроиться там, — но по пути в Белград мы с женой прожили почти три недели в Софии. И то, что мы не погибли там, как не погибли в Чёрном море, было тоже чудом.

Болгария была оккупирована тогда французами и потому русских беженцев, прибывавших туда, устраивали по квартирам французы. В Софии многих из них они поселили в одном из больших отелей, поселили там и нас с Кондаковым, и началось с того, что мы оказались среди множества тифозных больных, заразиться от которых ничего не стоило. А кончилось — для меня — вот чем. За несколько дней до нашего отъезда из Софии я был, в числе некоторых прочих, приглашен в гости, на вечернюю пирушку к одному видному болгарскому поэту, содержавшему трактир, и там просидел почти до рассвету — ни

хозяин, ни военный болгарский министр, бывший в числе приглашенных, ни за что не отпускали меня домой, министр даже кричал на меня в избытке дружеских чувств:

— Арестую, если вздумаете уходить!

Так и вернулся я домой, — только на рассвете и не совсем трезвый, — а вернувшись, тотчас заснул мертвым сном и только часов в одиннадцать дня вскочил с постели, с ужасом вспомнив, что приглашен на какую-то политическую лекцию Рысса,[58] человека очень обидчивого, и что лекция эта должна была начаться в девять утра, — в Софии публичные лекции, доклады часто бывали по утрам. Желая поделиться с женой своим горем, я перебежал из своего номера в её, как раз напротив моего, минут через десять вернулся в свой — и едва устоял на ногах: чемодан, в котором хранилось всё наше достояние, был раскрыт и ограблен дотла, — на полу было разбросано только то, что не имело никакой ценности, — так что мы оказались уже вполне нищими, в положении совершенно отчаянном. Замки чемодана были редкие, подобрать к ним ключи было невозможно, но я, проснувшись, сам

отпер чемодан, чтобы взять из него золотой хронометр, посмотреть, который час, — я благодарно не взял его вчера с собой, зная, что мне придется возвращаться с вечера у поэта поздно, по тёмной и пустынной Софии, — и, посмотрев, бросил чемодан не запертым, а хронометр положил на ночной столик у постели, с которого, разумеется, исчез и он. Однако судьба оказалась ко мне удивительно великодушна: взяла с меня большую взятку, но зато спасла меня от верной смерти, — почти тотчас же после того, как я обнаружил свою полную нищету, уж не помню, кто именно, принёс нам страшную весть о том, что случилось там, где должен был читать Рысс: меньше, чем за минуту перед его появлением на эстраде, под ней взорвалась какая-то «адская машина», и несколько человек, сидевших в первом ряду перед эстрадой, — в котором, вероятно, сидел бы и я, — было убито наповал.

Кто обокрал нас, было вполне ясно не только нам, но и всякому из наших сожителей по отелю: коридорным в отеле был русский, «большевичок», как все его звали, жел-

товолосый малый в грязной косоворотке и поганом сюртучишке, горничной — его возлюбленная, молчаливая девка, похожая на самую дешевую проститутку в одесском порту, «личность мистериозная», как называл ее болгарский сыщик, посланный арестовать и её, и коридорного болгарской полицией, но французы тотчас вмешались в дело и приказали его прекратить: нижний этаж отеля занимали зуавы, среди которых мог оказаться вор. И вот болгарское правительство предложило мне бесплатный проезд до Белграда в отдельном вагоне третьего класса, наиболее безопасном от тифозных вшей, и небольшую сумму болгарских денег на пропитание до Белграда. А в Белграде, где нам пришлось жить в этом вагоне возле вокзала на запасных путях, — так был переполнен в ту пору Белград, — я не только никак не устроился, но истратил на пропитание даже и то, что подарило мне болгарское правительство. Сербь помогали нам, русским беженцам, только тем, что меняли те «колокольчики» (деникинские тысячерублевки), какие ещё были у некоторых из нас, на девятьсот динар каж-

дый, меняя, однако, только один «колокольчик». Делом этим ведал князь Григорий Трубецкой, заседавший в нашем посольстве. И вот я пошёл к нему и попросил его сделать для меня некоторое исключение, — заменить не один «колокольчик», а два или три, — сославшись на то, что был обокраден в Софии. Он посмотрел на меня и сказал:

— Мне о вас уже докладывали, когда вы пришли. Вы академик?

— Так точно, — ответил я.

— А из какой именно вы академии?

Это было уже издевательство. Я ответил, сдерживая себя сколько мог

— Я не верю, князь, что вы никогда ничего не слыхали обо мне.

Он покраснел и резко отчеканил:

— Всё же никакого исключения я для вас не сделаю. Имею честь кланяться.

Я взял девятьсот динар, забывши от волнения, что мог получить ещё девятьсот на жену, и вышел из посольства совершенно вне себя. Как быть, что делать? Возвращаться в Софию, в этот мерзкий и страшный отель? Я тупо стоял на тротуаре и уже хотел брести в свой

вагон на запасных путях, как вдруг открылось окно в нижнем этаже посольского дома и наш консул окликнул меня:

— Господин Бунин, ко мне только что пришла телеграмма из Парижа от госпожи Цетлиной,[59] касающаяся вас: виза в Париж и тысяча французских франков.

-

В Париже, в первые годы двадцатых годов, мы получали иногда письма из Москвы всякими правдами, неправдами, чаще всего письма моего племянника[60] (умершего лет пятнадцать тому назад), сына той двоюродной сестры моей, о которой я уже упоминал и в имени которой, в селе Васильевском, я подолгу жывал многие годы — вплоть до нашего бегства оттуда в Елец и дальше, в Москву, на рассвете 23 октября 1917 года, вполне разумно опасаясь быть ни за что ни про что убитыми тамошними мужиками, которые неминуемо должны были быть пьяными поголовно 22 октября, по случаю Казанской, их престольного праздника. Вот в хронологическом порядке некоторые выдержки из этих писем, в своем роде довольно замечательных:

— Лысею. Ведь от холода почти четыре года не снимаю шапки, даже сплю в ней.

— Та знаменитая артистка, о которой я тебе писал, умерла. Умирая, лежала в почерневшей от грязи рубашке, страшная, как скелет, стриженная клоками, вшивая, окруженная докторами с горящими лучинами в руках.

— Был у старухи княжны Белозерской. Сидит в лохмотьях, голодная, в ужасном холоде, курит махорку.

— Я задыхался от бронхита, с великим трудом добыл у знакомого аптекаря какой-то мази для втирания в грудь. Раз вышел в нужник, а сосед-старичок, следивший за мной, вбежал ко мне и стал пожирать эту мазь; вхожу, а он, весь трясясь, выгребает её пальцами из баночки и жрёт.

— На днях один из жильцов нашего дома пошёл к своему соседу узнать, который час. Постучавшись, отворил к нему дверь и встретился с ним лицом к лицу, — тот стоял в дверях. Скажите, пожалуйста, который час? Молчит, только как-то странно ухмыляется. Спросил опять — опять молчит. Хлопнул дверью и ушёл. Что же оказалось? Сосед стоял, чуть ка-

саясь ногами пола, в петле: вбил железный костыль в притолоку, захлестнул бечевку... Прибежали прочие жильцы, сняли его, положили на пол. В окаменевшей руке была зажата записка: «Царствию Ленина не будет конца».

— Из нашей деревни некоторые переселяются в Москву. Приехала Наталия Пальчикова со всеми своими ведрами, ушатами. Приехала «совсем»: в деревне, говорит, жить никак нельзя и больше всего от молодых ребят: «настоящие разбойники, живорезы». Приехала к нам Машка, — помнишь девку из двора Федьки Рыжего? У нас объявлен к выходу самоедский словарь, скоро будут выходить «Татарские классики», но железнодорожное сообщение адское. Машка на пересадке в Туле неподвижно просидела в ожидании московского поезда на вокзале целых трое суток. Приехала Зинка, дочь Васильевского кузнеца. Ехала тоже бесконечно долго, в страшно тесной толпе мужиков. Сидя и не вставая, стерегла свою корзину, перевязанную верёвками, на которой сидел её мальчик, идиот с головой вроде тыквы. В Москве повела его в художе-

ственный театр — смотреть «Синюю птицу»...

— Один наш знакомый, очень известный учёный, потерял недавно рубль и, говорит, не спал всю ночь от горя. Жена его осталась в деревне. Ей дали угол в прихожей за шкапами в их бывшем доме, давно захваченном и населённом мужиками и бабами. На полу грязь, стены ободраны, измазаны клопиной кровью... Каково доживать жизнь, сидя за шкапами!

— Во дворе у нас, в полуподвальной дворницкой, живёт какой-то краснолицый старик с серой кудрявой головой, пьяница. Откуда-то оказался у него совсем новый раззолоченный придворный мундир, большой, длинный. Он долго таскал его по двору, по снегу, ходил по квартирам, хотел продать за выпивку, но никто не покупал. Наконец приехал в Москву из деревни его знакомый мужик и купил: «Ничего! — сказал он. — Этот мундир свои деньги оправдает! В нем пахать, например, самое разлюбозное дело: его ни один дождь не пробьет. Опять же тёпел, весь в застёжках. Ему сносу не будет!»

— Стали появляться в Москве и другие на-

ши земляки. На днях явился наш бывший садовник: приехал, говорит, «повидаться с своим барином», то есть со мной. Я его даже не узнал сразу: за то время, что мы не виделись, рыжий сорокалетний мужик, умный, бодрый, опрятный, превратился в дряхлого старика с бледной от седины бородой, с жёлтым и опухшим от голода лицом. Всё плакал, жаловался на свою тяжкую жизнь, прося устроить его где-нибудь на место, совершенно не понимая, кто я такой теперь. Я собрал ему по знакомым кое-какого тряпья, дал на обратную дорогу несколько рублей. Он, дрожа, пихал это тряпье в свой нищенский мешок, со слезами бормотал: «Теперь я и доеду и хлебушка куплю!» Под вечер ушёл с этим мешком на вокзал, на прощание поймал и несколько раз поцеловал мне руку холодными, мокрыми губами и усами.

— Я был на одном собрании молодых московских писателей. В комнате холод, освещение как на глухом полустанке, все курят и лихо харкают на пол. О вас, писателях эмигрантах, отзывались так: «Гнилые европейцы! Живые мертвецы!»

— Писатель Малашкин, шестипалый, мещанин из Ефремовского уезда. Говорит о себе: «Я новый роман кончил. Двадцать восемь листов. Написано стихийно, темпераментно!»

— Писатель Романов — мещанин из Белевского уезда. Желтоволосый, с остренькой бородкой. Пальто «клош», чёрные лайковые перчатки, застёгнутые на все пуговицы, лакированная трость, «артистически» изломанная шляпа. Самомнение адское, замыслы грандиозные: «Пишу трилогию „Русь“, листов сто будет!» К Европе относится брезгливо: «Не поеду, скучно там...» Писатель Леонов, гостивший у Горького за границей, тоже скучал, всё говорил: гармонь бы мне...

— Помнишь Варю Б.? Она живет теперь в Васильевском, квартирует в избе Красовых, метёт и убирает церковь, тем и зарабатывает кусок хлеба. Одевается как баба, носит лапти. Мужики говорят: «Прибилась к церкви. Кто ж её теперь замуж возьмет? Ведь какая барышня прежде была, а теперь драная, одни зубы. Стара, как смерть».

В деревне за городом Ефремовом Тульской губернии, в мужицкой полуразрушенной из-

бе, доживал в это время свои последние дни мой старший брат Евгений Алексеевич Бунин.[61] Когда-то у него было небольшое имение которое он после мужицких бунтов в 1905 г. вынужден был продать и купить в Ефремове небольшую усадьбу, дом и сад. И вот стали доходить ко мне в Париж сведения о нём:

— Ты, вероятно, не знаешь, что Евгения Алексеевича выгнали из его дома в Ефремове, теперь он живёт в деревне под городом, в мужицкой избе с провалившейся крышей. Зимой изба тонет в сугробах, в щели гнилых стен несёт в метель снегом... Живёт тем, что пишет портреты. Недавно написал за пуд гнилой муки портрет Васьки Жохова, бывшего звонаря и босяка. Васька заставил изобразить себя в цилиндре и во фраке, — фрак и цилиндр достались ему при грабеже имущества ваших родственников Трухачевских, — и в плисовых шароварах. По плечам, по фраку военные ремни с кольцами...

Прочитав это, я опять невольно вспомнил поэта Блока, его чрезвычайно поэтические строки относительно какой-то мистической

метели:

«Едва моя невеста стала моей женой, как лиловые миры первой революции захватили нас и вовлекли в водоворот. Я, первый, так давно хотевший гибели, вовлекся в серый пурпур серебряной Звезды, в перламутр и аметист метели. За миновавшей метелью открылась железная пустота дня, грозившая новой вьюгой. Теперь опять налетевший шквал — цвета и запаха определить не могу».

Этот шквал и был февральской революцией, и тут для него определились наконец цвет и запах «шквала».

Тут он написал однажды стишки о фраке:

*Древний образ в чёрной раке,  
Перед ней подлец во фраке,  
В лентах, в звёздах, в орденах...*

Когда «шквал» пришёл, фрак достался Ваське Жохову, изображённому моим братом не только во фраке, но и в военных ремнях с кольцами: лент, звёзд, орденов Васька тогда ещё не имел. Перечитывая письмо племянника, хорошо представляя себе эту сгнившую, с провалившейся крышей избу, в которой жил

Евгений Алексеевич, в щели которой несло в метель снегом, вспомнил и перламутр и аметист столь великолепной в своей поэтичности блоковской «метели». За гораздо более простую ефремовскую метель и портреты Васек Жоховых Евгений Алексеевич поплатился жизнью: пошел однажды зачем-то, — верно, за гнилой мукой какого-нибудь другого Васьки, — в город, в Ефремов, упал по дороге и отдал душу Богу. А другой мой старший брат, Юлий Алексеевич,[62] умер в Москве: нищий, изголодавшийся, едва живой телесно и душевно от «цвета и запаха нового шквала», помещён был в какую-то богадельню «для престарелых интеллигентных тружеников», прилег однажды вздремнуть на свою койку и больше уже не встал. А наша сестра Мария Алексеевна[63] умерла при большевиках от нищеты и чахотки в Ростове-на-Дону...

Приходили ко мне сведения и о Васильевском:

— Я недавно был в Васильевском. Был в доме, где ты когда-то жил и писал: дом, конечно, населён, как всюду, мужицкими семьями, жизнь в нём теперь вполне дикарская, перво-

бытная, грязь не хуже чем на скотном дворе. Во всех комнатах на полу гниющая солома, на которой спят, попоны, сальные подушки, горшки, корыта, сор и мириады блох...

А затем пришло ужё такое сообщение:

— Васильевское и все соседние усадьбы исчезли с лица земли. В Васильевском нет уже ни дома, ни сада, ни одной липы главной аллеи, ни столетних берёз на валах, ни твоего любимого старого клена...

\* \* \*

«Вронский действует быстро, натиском, заманивает девиц, втирается в знакомство к Каренину, нагло преследует его жену и, наконец, достигает своей цели. Анна, которую автор с таким блеском выводит на сцену, — как она умеет одеваться, как страстно увлекается „изяществом“ Вронского, как нагло и мило обманывает мужа, Анна падает как весьма ординарная, пошлая женщина, без надобности, утешая себя тем, что теперь оба довольны — и муж, и любовник, ибо обоим она служит своим телом, „изящным, культурным“ телом... Граф Толстой обольстительно рисует пошловатый мир Вронского и Анны... А ведь

граф Толстой даровитый писатель...»

Что это такое? Это пример того, до чего договариваются некоторые в предреволюционные и революционные времена. В шестидесятых годах да и в семидесятых не один болван, ненавидевший «фрак», тоже договаривался до чудовищных нелепостей. Но был ли болваном тот, чьи строки я только что привёёл? Строки, которые мог написать лишь самый отчаянный болван, негодяй и лжец, которого мало было повесить на первой осине даже за одни только каверзные кавычки в этих строках? Это писал совсем не болван, это писал Алексей Сергеевич Суворин, ставший впоследствии столь известным, писал в семидесятых годах. Ведь даже злейшие враги считали его впоследствии большим умом, большим талантом. А Чехов писал ему о его литературном вкусе даже восторженно:

«У вас вкус литературный — превосходный, я верю ему как тому, что в небесах есть солнце».



# Примечания

*Исаак Сирин* (Сирянин) — отец церкви VII в., род. в Ниневии. Сохранилось в арабском переводе 133 поучения.

[^^^]

## 2

31 мая 1931 г. прах Гоголя был перенесён на Новодевичье кладбище.

[^^^]

# 3

Рассказ напечатан полностью в «Литературном наследстве».

[^^^]

# 4

...после того, как была свергнута бывшая Святая Дева (*франц.*).

[^^^]

# 5

весьма скромна (*франц.*).

[^^^]

# 6

это чудо природы (*франц.*).

[^^^]

Неужели это ты? Ты, которую и видел столь прекрасной, когда толпа, окружив твою колесницу, приветствовала тебя, именуй той бессмертной, чьё знамя развевалось в твоих руках? Ты шествовала, гордая нашим преклонением, нашими ликующими возгласами, своим торжеством и своей красотой — да, тогда ты была богиней, Богиней Свободы! (франц. — Из стих. «Богиня».)

[^^^]

# 8

в этом здании, прежде называвшемся архиепископским собором (*франц.*).

[^^^]

поклонники Свободы (*франц.*).

[^^^]

# 10

Сойди к нам, о Свобода, дочь Природы!  
(франц.).

[^^^]

Неужели это вы? (франц. — Из стихотворения «Богиня»).

[^^^]

Ты богиня, богиня Свободы! (франц. — Из стихотворения «Богиня»).

[^^^]

Народ приветствовал её, именуя бессмертной  
(франц. — Из стихотворения «Богиня»).

[^^^]

чтобы усилить антипапистское движение  
(франц.).

[^^^]

Я вновь увидел тебя, но быстротечное время погасило глаза, в которых некогда сияла любовь... Смирись: колесница и жертвенник, цисты и юность, слава, доблесть, величие, надежда, гордость — всё погибло: ты уже не богиня, Богиня Свободы! (франц. — Из стихотворения «Богиня»).

[^^^]

Стойте! (нем.).

[^^^]

Добрый вечер, дорогой сосед. Как поживаете? — Маленькая прогулка? (*франц.*).

[^^^]

Не знаю, как я ещё не умер (*франц.*).

[^^^]

Живо, живо, Берта! (*франц.*).

[^^^]

Это дочь моей жены... Царица Небесная!  
(франц.).

[^^^]

Право, не знаю, как это со мной случилось...

[^^^]

гостиная; спальня (*франц.*).

[^^^]

Это ужасно (*франц.*).

[^^^]

моя бедная мать (*франц.*).

[^^^]

мой дорогой сосед (*франц.*).

[^^^]

Ну, хорошо! (*франц.*).

[^^^]

Я ей нравлюсь, и в этом уверен... Держу пари, что она бросилась бы в мои объятия (*франц.*).

[^^^]

Это дело восьми дней (*франц.*).

[^^^]

Ах! Если бы мой муж умер! Как бы я хотела провести с тобой целую ночь, заснуть в твоих объятиях и проснуться на утро от твоих поцелуев! (*франц.*).

[^^^]

Она даже не подумала о том, что она была в вечернем платье, которое могло измяться...  
(франц.).

[^^^]

Я тебя люблю! Делай со мной, что хочешь!  
Мне все равно! (*франц.*).

[^^^]

Ты меня больше не уважаешь, я отдалась тебе  
не задумываясь (*франц.*).

[^^^]

Ты мой, не правда ли, не правда ли? *(франц.)*.

[^^^]

Божья Матерь Заступница (*франц.*).

[^^^]

долой войну! (*франц.*).

[^^^]

Господи, помилуй нас! — Иисус Христос, помилуй нас! (*франц.*).

[^^^]

Прошения молитвенные к Божьей Матери Заступнице (*франц.*).

[^^^]

Отче небесный, сущий Боже, услыши нас...  
Господин министр, слушайте меня (*франц.*).

[^^^]

Дух святой, сущий Бог, помилуй нас! — Пресвятая Мария, пречистая в зачатии Твоем, моли о нас! (*франц.*).

[^^^]

Пресвятая Мария, вознесением прославленная, моли о нас! — Пресвятая Мария, архангелом Гавриилом приветствуемая, моли о нас!  
(франц.).

[^^^]

Благодатная Владычице, моли о нас! — Божья Мать Заступница, Царица и Покровительница Марсея, моли о нас! (*франц.*).

[^^^]

Это очень хорошо! (*франц.*).

[^^^]

О, да! (франц.).

[^^^]

наша колыбель и наша могила... *(франц.)*.

[^^^]

Рассказ напечатан полностью в «Литературном наследстве».

[^^^]

Кедрин Д. Б. (1907–1945).

[^^^]

Дон Аминадо (псевд., наст. фамилия — Аминад Петрович Шполянский, 1888–1957) — поэт, юморист и сатирик.

[^^^]

Федоров А. М. (1868–1949) — поэт, беллетрист, драматург. Эмигрировал из Одессы перед окончательным занятием её большевиками. Жил в Болгарии. Друг Бунина.

[^^^]

Бунин приехал в Петроград 2 апреля 1917 г.

[^^^]

Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Горького, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казачьей семье... (*франц.*).

[^^^]

Весной 1923 г.

[^^^]

Речь идет о второй жене А. Н. Толстого С. И. Дымшиц.

[^^^]

Речь идет об имении Васильевском, которое принадлежало Софии Николаевне Пушечниковой, двоюродной сестре И. А. Бунина.

[^^^]

23 мая (по старому стилю) 1918 г.

[^^^]

И. А. Бунин и его жена В. Н. Муромцева-Бунина уехали из Одессы 26 января 1920 г.

[^^^]

Кондаков Н. П. (1844–1925) — историк искусства, академик.

[^^^]

Речь идет о первой части «Хождения по мукам» («Сестры»), появившейся в I–IV книгах парижского журнала «Современные записки» (1920–1921).

[^^^]

Петр Яковлевич Рысс (?-1948) — журналист, принадлежал к Партии Народной свободы. Умер в Париже.

[^^^]

Мария Самойловна Цетлина (1882–1977).

[^^^]

Николай            Алексеевич            Пушечников  
(1882–1939), любимый племянник И. А. Бунина, переводчик Тагора, Киплинга, Голсуорси, Джека Лондона; в своём, до сих пор полностью неопубликованном, дневнике оставил крайне интересные и ценные воспоминания о Бунине.

[^^^]

Евгений Алексеевич Бунин (1858–1935) — брат писателя. Детство и юность провёл с родителями на хуторах Орловской и Тульской губернии, гимназию не закончил. По воспоминаниям В. Н. Муромцевой-Буниной. Е. Бунин «погубил свой недюжинный талант художника-портретиста».

[^^^]

Юлий Алексеевич Бунин (1857–1921) — играл большую роль в жизни писателя. Всесторонне образованный (закончил два факультета) и одарённый, он помог И. Бунину заполнить пробелы образования (И. Бунин оставил гимназию в Ельце с четвёртого класса). В дальнейшем Ю. Бунин имел влияние на брата и был для него своего рода авторитетом. И. Бунин очень переживал его смерть.

[^^^]

Мария Алексеевна Бунина, по мужу Ласкар-  
жевская (1873–1930).

[^^^]